

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ

Лабиринты



НА · ВПЕРВЫЕ ·
РУССКОМ ·

PREMIUM

Азбука Premium

Фридрих Дюрренматт
Лабиринты

«Азбука-Аттикус»

1998

УДК 821.112.2
ББК 84(4Шва)-44

Дюрренматт Ф.

Лабиринты / Ф. Дюрренматт — «Азбука-Аттикус»,
1998 — (Азбука Premium)

ISBN 978-5-389-13294-8

Предлагаем читателям самую необыкновенную и, пожалуй, самую интересную книгу крупнейшего швейцарского писателя Фридриха Дюрренматта, создававшуюся им на протяжении многих лет. Она написана в жанре, которому до сих пор нет названия. Сам писатель называл свое детище лаконичным словом «Сюжеты». Под одной обложкой Дюрренматт собрал многочисленные «ненаписанные вещи», объединив их в причудливый коллаж из воспоминаний, размышлений, обрывков разнообразных фрагментов, загадочным образом ведущих к иным текстам, замыслам, снам, фантазиям. Сюда также вошли законченные произведения, переработанные автором; например, широко известная притча «Зимняя война в Тибете». Все вместе представляет собой некий лабиринт или недостроенную башню воображения, которая, подобно человеческой культуре, вечно находится в процессе строительства и никогда не будет завершена. Впервые на русском!

УДК 821.112.2
ББК 84(4Шва)-44

ISBN 978-5-389-13294-8

© Дюрренматт Ф., 1998

© Азбука-Аттикус, 1998

Содержание

Лабиринт. Сюжеты	7
I. Зимняя война в Тибете	7
Зимняя война в Тибете	39
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Лабиринты: сюжеты

Friedrich Durrenmatt

LABYRINTH (Stoff e I–III)

Copyright © 1998 by Diogenes Verlag AG Zurich

TURMBAU (Stoff e IV–IX)

Copyright © 1998 by Diogenes Verlag AG Zurich

© Г. Снежинская, перевод, 2017

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017

Издательство АЗБУКА®

* * *

Фридрих Дюрренматт (1921–1990) – крупнейший швейцарский писатель, обладатель многих престижных наград, среди которых Большая премия Швейцарского Шиллеровского фонда и Грильпарцеровская премия Австрийской академии наук. Его пьесы «Ромул Великий», «Визит старой дамы», «Физики» и другие вот уже более полувека идут в театрах Европы и Америки, а романы, повести и рассказы пользуются неизменным успехом у читателей по всему миру.

Читая книги Дюрренматта, невозможно избавиться от ощущения, что становишься свидетелем рождения и гибели крошечной галактики. И ее свет остается с нами долго после того, как закрыта последняя страница.

Альберто Мангель. Spectator

Взявшись за написание истории моих ненаписанных вещей, я поневоле должен был реконструировать историю некоторых все-таки написанных. Находя старые сюжеты, я находил себя самого, потому что с моими сюжетами я скручен-перекручен так, что концов не найти. Но я ошибся, вообразив, что мне как писателю эта работа под силу, и легкомысленно пустился в предприятие, финал которого было не предугадать. Получилось как с «Вавилонской башней»: когда-то задумал ее, начал, а пришлось бросить, чтобы от нее освободиться. Оставшееся – развалины.

Фридрих Дюрренматт

Фридрих Дюрренматт – один из немногих по-настоящему гениальных писателей в немецкоязычной послевоенной литературе; звезда уровня Кафки. Один из самых умных и тонких творцов своего времени.

Ханс Майер, известный немецкий критик и литературовед

Построивший мир не должен объяснять его.

Фридрих Дюрренматт

Лабиринт. Сюжеты

I–III

1964–1981 гг

Окончательная редакция 1990 г

Читатель, отдав за книгу свои наличные, спросит: что возместит ему затрату? Единственное мое спасение теперь – напомнить читателю, что книгу он сумеет использовать самым различным образом, даже и не читая ее. Этой книгой, как и многими другими, он может заполнить свободное место на полке в своей библиотеке, где на нее, в такой свежей обложке, будет приятно посмотреть. Или же читатель может положить ее на трюмо или чайный столик своей ученой подружки. Наконец, и это как раз самое лучшее, что я всячески советую, он может критически оценить книгу.

А. Шопенгауэр

I. Зимняя война в Тибете

Много раз, все снова и снова кто-нибудь пытался описать свою собственную жизнь. Я считаю, это дело невозможное, хотя и понять людей могу. Чем ты старше, тем сильнее тянет подвести итоги. Смерть приближается, жизнь убегает. Она убегает – значит, ты стремишься воплотить ее, дать ей образное выражение; а когда что-то воплощаешь, тем самым ты что-то фальсифицируешь. Вот так и появляются неверные итоги, которые мы называем жизнеописаниями. Порой это великие художественные произведения – о том свидетельствует мировая литература, – их часто принимают за чистую монету, а надо бы – просто за ценную.

Что же до моей жизни, ее подробное описание излишне еще и по другой причине. По сравнению с судьбой многих миллионов, которые жили раньше, живут в то время, когда живу я, будут жить и тогда, когда я жить перестану, мне самому моя жизнь кажется настолько привилегированной, что просто совестно еще и по-писательски ее прославлять. Если я все-таки пишу о себе, то пишу не историю своей жизни, а стараюсь воссоздать историю моих материалов – сюжетов и тем. Они ведь выражают мое мышление, раз уж я писатель. Хотя, конечно, мое мышление ими не ограничивается. Но сюжеты – результат моего мышления, это зеркала, в которых так или иначе, смотря по тому, какова шлифовка, отражается мое мышление, следовательно – и моя жизнь. Однако в числе этих сюжетов не только те, которые я превратил в тексты, но и другие, по которым ничего не написано или написано, но осталось незавершенным. Когда я в общих чертах набрасываю именно такие сюжеты, я словно нащупываю обратный путь своих мыслей, иду по следу, как охотник, и то, что при этом выскакивает из укрытия, и есть моя жизнь. Если же, наоборот, я принимаюсь размышлять о своей жизни, то за написанными вещами я различаю ненаписанные, то есть сюжеты, материалы. Они покоятся в моей памяти, со временем став нечеткими, как все канувшее в прошлое. Часто лишь смутно угадываются фрагменты, а целого, можно сказать, нет, зато фрагменты растут как на дрожжах, мне в укор, ведь они – упущенные шансы, нереализованные возможности. Несомненно, сюжеты, превратившиеся в тексты, это итоги моей жизни. Но жизнь – это не только поступки и действия, а прежде всего переживания. Они предшествуют действию, и точно так же бездействие, мечтания, грезы обусловлены переживанием, самой жизнью, в конце концов.

Кто пишет – тот действует, пускает в оборот переживания и жизнь, непосредственно либо опосредованно, в силу тех или иных причин, побуждающих человека писать, нередко обманчивых; непосредственно или опосредованно – это уж смотря по тому, каков его характер; в моем случае о непосредственности нет речи. Я не из числа писателей-экспозиционистов, не знающих стыда, не из тех, кто так и сяк монтирует, сочиняет и пересочиняет свою жизнь, не принадлежу я и к тем, кто ушатами выплескивает на тебя витиеватые словеса, так что недолго и захлебнуться, барахтаясь в потоках авторского красноречия. Я из цеха слесарей и конструкторов мысли, которым нелегко приходится с их собственными находками и выдумками, так как эти находки то и дело перечеркивают авторские планы и замыслы и даже убеждения. Эти писатели не «идут от языка», а, наоборот, пробиваются к языку с мучительным трудом, но не потому, что язык слаб, не на уровне сюжетов, – у них как раз сюжеты хромают, обретаются где-то вне слова, в чем-то еще безъязыком, не вполне продуманном, образном, зримом. У меня не мысли рожают образы, а, напротив, образы рожают мысли. Моя писанина нацелена куда-то в сторону от моего «я», хоть я и не написал чего-то, что не было бы связано с пережитым лично мной, с моими вытесненными либо давно забытыми переживаниями, чувствами и мыслями. И кстати, мои не написанные или не завершенные вещи связаны с моим миром, то есть с миром, каким я его переживал и переживаю, более непосредственно, чем вещи написанные и завершенные, которые вначале были материалом, затем пропускались через фильтры, формировались так, потом эдак, потом еще как-то, и хотя всякий раз принимали новый облик, но все-таки доводились до конца, обретали язык, то есть были приспособлены, приближены к языку. Поэтому так важны вещи не написанные или написанные, но не завершенные. Они либо еще не обрели речь, не превратились в речь, либо остались попытками, не доведенными до финала, финал же всегда сомнителен, да и не может быть другим: закончить что-то можно только произвольно, закончить вещь – значит отдать ее в чужие руки, утратить, забыть, поневоле смирившись – как всегда, когда что-то забыл. А вот вещь не написанная или не завершенная принадлежит мне. Она существует только в моих мыслях, это либо фантазия, либо что-то начатое и отложенное, но все-таки возможное и потому не дающее тебе покоя. Пытаясь реконструировать или хотя бы набросать эти ненаписанные вещи, недоработанные сюжеты, обрывки фантазии, переживания и, более того, само время, когда они ко мне пришли, я на самом деле хочу забыть их, освободиться, сбросить балласт, который с каждым годом все тяжелее.

Первыми идут впечатления. Деревня появилась у пересечения двух дорог – из Берна в Люцерн и из Бургдорфа в Тун, на плоскогорье, у подножия высокого холма Балленбюль и невдалеке от пригорка Висельников, на который когда-то привозили из Шлосвиля убийц и мятежников, приговоренных тамошним судом. Через плато протекает ручей. Местным деревенькам и хуторам нужен был свой центр. Здешняя аристократия обеднела, один из последних представителей знати насмерть замерз, пьяный, аккуратно у дверей своего хорошенького замочка. Усадьбы аристократов превратились в дома престарелых или пансионаты. В первое время у перекрестка дорог стоял трактир, потом наискосок от него появилась кузница, затем заполнились и два оставшихся поля этой системы координат, на одном углу построили магазин, на другом театральный зал, последнее немаловажно: у деревни был свой король йодля,¹ звали его Шмальц, а также свой драматург, учитель Гриби, чьи сочинения ставились в театральных кружках во всем Эмментале, чаще всего пьесу «Блюмлисальп. Бернское драматическое сказание в пяти действиях»; от нее в моей памяти остались только какие-то тени да еще финал: под занавес на сцене раздался страшный грохот – горный обвал похоронил под глыбами льда и обломками скал прекрасные горные пастбища Блюмлисальпа. Вдоль дороги на Тун обосновались набойщик, торговец текстилем, мясник, пекарь, а также школа, от которой

¹ Йодль – тирольское горловое пение. (Здесь и далее примеч. перев.)

уже было рукой подать до соседней деревни; парни из той деревни поколачивали меня, подкараулив на дороге в школу, и собак из той деревни мы боялись. На небольшой возвышенности между Тунской и Бернской дорогами находились сберегательная касса, пасторский дом, церковь и кладбище. Но только когда вдоль круто поднимающейся в гору дороги на Бургдорф вырос большой молочный завод, в первые годы называвшийся Акционерным обществом Штальден, деревня и впрямь сделалась местным центром: со всей округи на завод везли молоко в бидонах, мелкие фермеры – на тележках, запрягая в них больших собак, а хозяева посolidней – на больших телегах с лошадьми. Из отдаленных деревень приезжали грузовики, мы, мальчишки, собравшись группами, ждали их, но это уже позднее, когда мы перешли в школу второй ступени, находившуюся в Гроссхехштеттене. Мы прицеплялись к здоровенным машинам, выезжавшим из заводских ворот, и грузовики тянули на буксире нас, велосипедистов, вверх по дороге на Бургдорф. Мы ужасно боялись, но не полиции – с толстяком-полицейским каждый из нас управился бы одной левой, – мы боялись учителя письма и французского. За глаза мы звали его Старой Мымрой и Хегу,² а на его уроках тряслись от страха, так как он был скор на расправу, чуть что отвешивал тяжеленные затрешины, драл за уши, таскал за волосы, да еще заставлял нас приветствовать друг друга – обмениваться рукопожатием, приговаривая: «Будь здрав, ученый европеец!» Прицепившись к рычащему грузовику, под громохание подпрыгивавших в кузове пустых бидонов, мы пускались фантазировать: будто бы наш учитель – это огромная гора, которую мы должны покорить, и выдумывали невероятные названия для невероятно крутых горных склонов и скальных стен. Однако молочный завод с его высокой трубой, этим подлинным символом деревни, не в пример церковной колокольне, играет все-таки не столь важную роль в моих воспоминаниях, как наш вокзал. Он имел право именоваться вокзалом, а не просто станцией железной дороги, как по правде надо бы называть «вокзалы» других деревень нашей округи. Это был настоящий железнодорожный узел, гордость нашей деревенской публики. Редкий поезд осмеливался промчаться мимо нас без остановки в далекий Люцерн или не столь далекий Берн. Сидя на скамейке перед зданием вокзала, я смотрел на такой поезд, когда он приближался, и чувствовал разом и притяжение, и неприязнь, потом мимо проносился паровоз, пыhtящий доисторический мастодонт, и в окнах вагонов были видны пассажиры, даже не замечавшие вокзал, через который они пролетали. И еще глубже в прошлое уходят мои воспоминания – в туннель-переезд, пробитый на дороге в Бургдорф, на ее пересечении с железнодорожными путями. Лестница из туннеля поднимается прямо в здание вокзала. Этот туннель мне запомнился – темная пещера, я угодил туда однажды, трех лет от роду, когда улизнул из дома и по самой середине дороги потопал в деревню. В дальнем конце пещеры был солнечный свет, оттуда на меня надвигались черные тени грузовиков и подвод. Куда, собственно, я шел, неизвестно, так как через туннель можно было выйти не только к молочному заводу или на вокзал, – на крутом склоне холма Балленбюль жили небедные люди, в том числе моя крестная, жена деревенского врача, ей, но уже позже, учась в школе, я должен был приносить свои школьные табели, всегда неутешительные. Еще там жили глава церковной общины, служащие дирекции молочного завода, уже упоминавшийся король йодля да коротавшие дни в покое и уюте пенсионеры, поселившиеся на холме, потому что место солнечное, и наконец, там жили зубной врач и зубной техник. Они вдвоем заправляли Институт стоматологии, который по сей день остается камерой пыток для пациентов из самых разных городов и весей, а нашей деревне принес известность. У каждого зубодера был свой автомобиль, уже поэтому они относились к привилегированной публике; вечером они сваливали в общую кучу деньги, полученные за пломбы, протезы, удаленные зубы, и на глазок делили выручку, не утруждая себя кропотливыми подсчетами. Зубной техник был при-

² То есть просто по имени.

земистый толстяк; озаботившись делами народного здравоохранения, он добился выпечки особого, народного хлеба, от одного вида которого пробирала дрожь. Врач же был видный собой мужчина, да еще и из ретороманцев, родом, кажется, из Невшателя. Он слыл самым богатым человеком в округе, потом, правда, оказалось, что это заблуждение. А вот самым набожным он точно был: даже высверливая больной зуб, трепался о Спасителя. По части набожности ему не было равных, кроме разве что одной жилистой, неопределенного возраста дамы, всегда ходившей в черном. По ее словам, к ней являлись ангелы с вестью о скорой смерти кого-нибудь из деревенских, впрочем, этой вестью она делилась с моим отцом лишь после похорон означенных особ. Во время дойки коров она читала Библию, а на меня возложили обязанность вечером провожать к ней ужинавших в нашем доме мелких торговцев и бродячих артистов, я вел их через равнину, что между нашей деревней и Цецивилем, в ее домик, где им предоставлялся ночлег. Мои родители были гостеприимной пасторской четой, всех привечали, всех сажали за стол; кормили и детей из цирка, который каждое лето разбивал свой шатер поблизости от деревни, а как-то раз, помню, у нас ужинал негр. Черный как сажа, звали его Модидин. Он сидел за столом по левую руку от моего отца и уплетал рис с томатным соусом. Негр был новообращенный, а все-таки я его боялся. Вообще в деревне многих обращали в новую веру: зазывали в свои шатры приезжие миссионеры, всем надоедала Армия спасения, проповедовали евангелисты, но наибольшую известность в этом смысле нам принесла магометанская миссия, обосновавшаяся в старинном шале выше по склону, над деревней. Миссия напечатала карту мира, на которой во всей Европе был обозначен единственный населенный пункт – наша деревня. Миссионерский чванливый жест, у многих породивший бредовое убеждение, что они живут в центре мироздания, а не в эмментальской дыре. Последнее – не преувеличение. Деревня была урод уродом – нагромождение домишек в мелкобуржуазном стиле, каких в Миттельланде двенадцать на дюжину. А вот крестьянские деревеньки в нашей округе были хороши: высокие крыши, аккуратно прибранные навозные кучи, а дальше, за деревнями, – таинственные темные ельники и манившая приключениями равнина: клеверные луга, желтые поля пшеницы, где мы шныряли и устраивали убежища, чтобы прятаться от крестьян, когда те, чертыхаясь, топтались у края поля и понапрасну высматривали нас. Еще таинственнее были темные закоулки и ходы на сеновалах в крестьянских дворах: мы часами ползали в теплом пыльном мраке и, осторожно высунувшись, смотрели вниз, в коровник, где длинными рядами стояли коровы. Самым страшным местом был темный, без окна, чердак нашего дома. В темноте едва различимо, смутно белели кипы старых газет и книг. Еще, помню, я сильно напугался, войдя однажды в нашу домашнюю прачечную, – там лежало чудовище, наверное тритон; запомнился и мой ужас, когда в зеленой лавке, что на склоне под нашим театральным залом, хозяин, рубанув своей беспалой ручищей, разбил надвое кочан зеленого салата; до сих пор помню и как я струхнул, когда в моих руках забилась живая, увертливая форель, моя первая форель, пойманная в ручье, – рыбина дернулась, взвилась кверху, выскользнула, но тут я схватил ее и пришиб насмерть. Зато на кладбище ничего страшного не было. Когда родители хотели поговорить о чем-нибудь важном, они шли туда и прохаживались между могил. Мы с сестрой играли в прятки среди надгробных памятников, нередко – поблизости от могилы нашей сестренки; не помню ее рождения и смерти, а когда пытаюсь что-то вспомнить, вижу только бледную тень – кованный крест с эмалевой табличкой, но имя на ней забыл. Если на кладбище выкапывали новую могилу, я прыгал вниз и сидел, устроившись как дома, пока не появлялась похоронная процессия, о приближении которой возвещал колокольный звон; однажды я поздно вато спохватился и вылез из могилы, когда мой отец уже дочитывал отходную. Мы были хорошо знакомы не только со смертью, но и с умерщвлением. В деревне не существует ничего тайного, а человек – он ведь хищный зверь с кое-какими человеческими задатками. Мы ходили в мясную лавку и смотрели во все глаза: подручные мясника убивали скотину, из живых

громadных животных хлестала кровь, они валились наземь и умирали, потом их рубили на куски. Проторчав в мясной четверть часа или полчаса, мы снова бежали на улицу, играть мраморными шариками. Мы были более осведомленными, чем полагали взрослые. И не только потому, что мы знали о сексе, хотя взрослые об этих вещах молчали, – мы же видели и случку собак, и могучих быков, покрывающих флегматичных телок, мы слышали хвастливые рассказы парней о том, что они вытворяли с девками. Ведь и для детей деревня – не весь мир. Да, в деревне разыгрываются чьи-то судьбы – трагедии и комедии, однако жизнь деревни определяется миром: мир оставляет деревню в покое, забывает или уничтожает ее, а не наоборот. Деревня – всего лишь произвольно взятая точка в этом мире, случайно выбранная, ничем не примечательная, а потому заменяемая любой другой.

Мир больше деревни: над лесами блещут звезды. С ними я познакомился рано благодаря учителю Флури, тихому, серьезному человеку, который, пока не женился, был нашим жильцом. Флури преподавал в старших классах. Я рисовал звездное небо: неподвижную Полярную звезду, Большую Медведицу, Малую Медведицу и между ними изгиб Дракона. Я научился находить на небе яркую Вегу, мерцающий Альтаир, совсем близкий Сириус и очень далекую альфу Лебеда, гигантское солнце – Альдебаран и еще более мощные Бетельгейзе и альфу Скорпиона – Антарес. Мне было известно, что наша деревня находится на Земле, а Земля входит в Солнечную систему, я знал, что Солнце и его планеты движутся вокруг центра Млечного Пути, перемещаясь по направлению к Геркулесу, я знал и то, что туманность Андромеды, которую можно видеть невооруженным глазом, это такой же Млечный Путь, как наш. Я решительно не признавал систему Птолемея.³ Я знал нашу деревню, ближайшие окрестности, ближайший город, курортный поселок, расположенный опять-таки в ближайших горах, еще, благодаря школьным экскурсиям, я знал сколько-то других мест, отдаленных на сколько-то километров. Но это и все. Вертикально же, в космос, выстраивались конструкции огромной протяженности, и что-то похожее было с временем: прошлое воздействовало сильнее, чем настоящее, которое воспринималось, только когда оно затрагивало что-то непосредственно близкое, когда оно вторгалось в жизнь деревни. Политика деревенского масштаба уже была чем-то слишком абстрактным, слишком абстрактной была и роль молочного завода с его директором, пребывающим где-то вдалеке, еще большей абстракцией была политика страны, социальные кризисы, разорения банков, из-за чего мои родители потеряли свое состояние, – все слишком неопределенно, слишком неочевидно. А прошлое было осязаемо. О нем говорили взрослые. Мать пересказывала нам Библию. Она пошла учить детей в воскресной школе вместо дочери набожного стоматолога, у которой мы изнывали от скуки: нежным детским голоском эта унылая особа бубнила благочестивые изречения. Моя матушка развернула перед нами эпос. Правда, она обошла стороной историю Адама и Евы, считая этот сюжет весьма щекотливым, зато нарисовала нам грандиозную картину Всемирного потопа и гнева Божия – он же выплеснул на человечество целый океан, – ну-ка, поплавайте! Моисей и Иисус Навин, повелевший: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою!»⁴ От его повеления вселенная содрогнулась – на целый день и целую ночь остановились не только солнце и луна, – Млечный Путь и далекая туманность Андромеды, до того вращавшиеся с бешеной скоростью и мчавшиеся навстречу друг другу, замерли в неподвижности, пока на маленькой Земле бушевала битва, звенели щиты и мечи, летели наземь рассеченные кони и изрубленные в куски люди. Отец же рассказывал нам о древних греках. Когда мы шли через темный ельник в деревню Хойтлинген или поднимались по крутому склону в лес, где там и сям были разбросаны крестьянские усадьбы, отец молчал:

³ *Птолемей Клавдий* (ок. 100 – ок. 170) – эллинистический астроном, математик и физик, сформулировал геоцентрическую модель мира, согласно которой Земля находится в центре мироздания, а все небесные тела обращаются вокруг нее. Вплоть до настоящего времени геоцентризм находит признание у некоторых консервативных протестантских групп.

⁴ Нав. 10: 12.

обдумывал проповедь, которую собирался произнести в крестьянской горнице. Но потом, когда мы уже в полной темноте возвращались домой, он рассказывал нам древнегреческие легенды. Герои и чудовища, о которых говорил отец, сразу становились близкими, не только потому, что некоторые имена я узнал раньше, учась различать созвездия, а потому, что эти имена и персонажи, их носившие, были едины: сильнейший из людей, когда-либо живших на свете, мог зваться только Гераклом и никак иначе. Держась за руку отца, я слушал рассказ о двенадцати подвигах, совершенных полубогом, о том, как он перехитрил титана Атланта, несшего на своих плечах мироздание и стонавшего под его непомерной тяжестью, – урони он свою ношу, все было бы сметено и разрушено; как он спустился в Аид и усмирил пса Цербера, – в тот момент, когда отец говорил об этом, залилась лаем цепная собака в усадьбе богатого крестьянина, мимо которой мы проходили; как непобедимый герой подстрелил двух орлов, терзавших печень Прометея, и как сгорел заживо, надев рубашу кентавра Несса.

Но больше всего отец любил рассказывать о царском сыне Тесее, победившем разбойников Прокруста и Синиса, и о Лабиринте царя Миноса, построенном Дедалом, чтобы держать в неволе непокорного Минотавра. Я узнал и о гибели отца Тесея: сын, раззява, возвращаясь с Крита, забыл, что надо поднять белый парус; не увидев этого знака, Эгей подумал, что сын его погиб, и в отчаянии бросился в море, ну да, в Эгейское. Чрезмерная отцовская привязанность опасна, сыновья перестают оказывать родителю должное внимание. И я ведь тоже был невнимательным сыном, редко вспоминал об отце, еще реже размышлял о нем. Однажды, когда отец рассказывал о Сизифе, или о Тантале, или об Эдипе – в общем, о ком-то, кого боги проклинали, я спросил, что такое проклятие. Отец ответил, что все эти истории выдуманы, древние греки не знали, что существует только один Бог. Впрочем, в другой раз, когда поздно ночью в снегопад мы спускались из леса, он рассказал о человеке, который в молодости претерпел большие бедствия и проклинал Бога, после чего дела этого человека пошли лучше некуда, он все больше богател, но душа его неуклонно погружалась в скорбь. Еще отец сказал, что существует грех, который Бог не может простить, однако никому доподлинно неизвестно, какой это грех. Эта загадка занимала меня долго, потому что она, по-видимому, занимала и моего отца.

Хорошими рассказчиками были не только отец и мать, но и наш учитель Ретлисбергер, у которого на одной руке не было большого пальца. Он возглавлял Союз надежды, молодежное отделение Синего Креста.⁵ Даже сегодня я иногда раздумываю об одной истории, услышанной нами, детьми, от этого человека, вспоминаю ее как забытый сон. Все там происходило в темноватом кабаке. Даже сегодня я волнуюсь, как тогда, когда впервые услышал эту историю, и даже сегодня мне жаль, что я не дослушал ее до конца, – я заболел, а когда поправился, Союзом надежды руководил уже не учитель, а мужской портной. Я перестал к ним ходить. Портной умел только молиться, а рассказчик он был никудышный. Моя тогдашняя болезнь не была притворством, как и та, которую я перенес позднее. До этого я ведь частенько притворялся больным – мою кровать придвигали к окну, откуда я мог видеть все происходящее на дороге в Тун, иначе говоря, видеть уныло плетущихся в школу несчастных мальчишек и девчонок. Уже в средней школе я время от времени симулировал, чтобы избежать атак учителя французского. Но в тот раз – никакой симуляции: сильный жар, родители перепугались, отец все вечера просиживал у моей постели, врач сказал, что у меня «мозговой грипп», но мама применила свое проверенное средство – компрессы с глиной. Через два месяца я встал. Вот только уже не мог, как прежде, быстрее всех пробежать пятидесятиметровку, бегал медленнее других ребят, и в футбол мог играть разве что правой ногой, и на лыжах с тех пор не хожу. Все потери мне возместили уроки нашего учителя истории

⁵ *Синий*, или *Голубой*, *Крест* – христианская организация по оказанию помощи алкоголикам и наркозависимым, основана в 1877 г. в Женеве.

и географии доктора Штендера, помнится, он был рыжеволосый, толстый и держался величаво. Он не учил нас – он развертывал перед нами грандиозные картины. Из географии – горы, долины, леса, глетчеры, родники и реки. Из истории – битва у горы Моргартен, когда на головы австрийцам полетели огромные камни и стволы деревьев, сражение при Земпахе, в котором швейцарцы били рыцарей алебардами и кистенями, а рыцари, с великим трудом спешиваясь с высоких коней, неуклюже переваливались, да и вообще едва могли пошевелиться в тяжелых доспехах. Он живописал нам штурм крепости Муртен, когда солдаты Конфедерации, не теряя драгоценного времени на молебны, ночью атаковали лагерь Карла Смелого, где как раз подходило к концу богослужение и герцог, облаченный в ночную рубаху, посвящал своих воjak в рыцари. Накануне каникул Штендер, отложив в долгий ящик учебные материалы, рассказывал нам о нибелунгах, по Вагнеру и древней эпической «Песне». Мое воображение покорили германские герои: кузнец Миме, Фафнер со своей шапкой-невидимкой, Зигфрид и Хаген, Дитрих Бернский и его старший дружинник Хильдебранд, Кримхильда и царь гуннов Этцель. И страшный финал, кровавое побоище в охваченном огнем замке гуннов. Мы не знали тогда, что уже скоро вдали от нашей деревни и за пределами нашей маленькой страны, посреди которой мы прозябали в нашем захолустье, разразится побоище куда более страшное. Услышанное на уроках мы тотчас применяли на практике, в своих сражениях, мы бились деревянными, грубо сработанными мечами, а то и огородными подпорками для фасоли, стреляли из деревянных ружей; через некоторое время эти баталии сменились футбольными. Мы играли в футбол до позднего вечера, под конец валились с ног от усталости, я во всем этом участвовал, после болезни тоже. На краю футбольного поля сидел в коляске парень, у которого не было обеих ног, за ним присматривала сестра. Об участии девочек в наших буйных играх не было и речи. Чтобы кто-то ходил с подружкой – такого у нас тоже не водилось. На высоком престоле восседали взрослые, властвовали над нами. Они повелевали – и мы ходили в школу: воскресную, начальную, среднюю. Они устанавливали наш распорядок дня – когда ложиться спать, когда просыпаться, когда обедать. Их повеления ставили рамки нашим войнам и битвам. Взрослые были всемогущи и держались заодно. Некоторых взрослых мы ненавидели за то, что они, как нам казалось, ненавидели нас – не отвечали, когда мы с ними здоровались, – и мы перестали здороваться, например, с торговцем текстильными товарами, который жил по соседству, мы его боялись. В день его свадьбы люди, собравшиеся перед церковью, отворачивались, и мы были рады, что взрослые тоже терпеть его не могут, что у взрослых тоже хватает ненависти и зависти, совсем как у нас. Свадебная процессия притащилась к церкви тихо, словно похоронная, и церковь ее заглотнула. Вечером был шумный праздник, я уже лежал в кровати, как вдруг с шипеньем и треском в небе стали рваться ракеты. После свадьбы красавицу-жену этого торговца почти не видели. В свой сад он никого не пускал. Однажды я в сумерках осторожно слез на землю с липы – на ее развилине у меня было устроено укрытие из досечек, – пробрался через кусты смородины в соседский сад и крадучись подошел к окну – меня привлекли доносившиеся оттуда вопли и ругань. А как-то раз отец взял меня с собой, идя навестить тяжелобольную женщину, жившую на краю нашего прихода, со стороны Обердисбаха. По дороге отец показал мне полуразвалившийся дом, стоявший особняком, и поведал, что когда-то он принадлежал старухе-крестьянке, которая на смертном одре призналась, что отравила своих родителей, и отца, и мать. С тех пор эти стоящие особняком усадьбы и дома казались мне еще более таинственными. Одни были разбросаны по холмам, у самого леса, который, когда войдешь под его сень, напоминает собор: вечный мрак под громадными елями, редкие лучи солнечного света, словно покосившиеся колонны; другие крестьянские дворы ютились в лощинах, прорезавших леса, оттуда до ближайшего хутора или поселка добираться несколько часов; дороги грунтовые, зимой завалены снегом, ни проехать ни пройти. Крестьянин работал в одиночку, делал свое дело механически, совсем один на своем горбатом поле, один под

исполинскими облаками, один под небом, откуда низвергается палящий зной или снежные шквалы, пронизывающий ветер, и ливни, хлещущие плетьюми, и жестокая дробь града; а еще он был один со своей семьей. Нередко случалось, если жена выстарилась, а прислугу не держали по бедности, крестьянин-отец спал с родной дочерью. Мы спускались в лощины или торопливо поднимались на холмы лишь тогда, когда там сжигало молнией какую-нибудь усадьбу. Мы вставали широким кругом, в центре которого пылал пожар, и смотрели, как все на дворе и в крестьянском доме с треском рушится, взметая искры, и гибнет в пламени. Ревела скотина, всюду громоздилась вытащенная из дому мебель, от пожарной команды не было толку, она, как правило, прибывала на пожар позже зрителей, из-за ужасных дорог. А потом, когда все уходило, когда на месте дома торчали лишь черные обугленные балки, от которых несло гарью и дымом, крестьянин со своей семьей опять оставался один, деревня о нем забывала. Иные погорельцы уезжали из наших краев, нанимались в батраки, женщины – в прислугу, детей отдавали в чужие семьи, но кое-кому удавалось отстроиться и завести новое хозяйство. Потом все заносило снегом, и погорельцы, наработавшись в лесу, долгими зимними вечерами раздумывали, за что же они прокляты, а те, кого злая судьба пощадила, обойдя стороной их усадьбы, думали-гадали, сидя в горнице, при свете месяца, почему же они удостоились милости Божьей, несмотря на то что спали со своими дочерьми или скотиной. И внезапно комнatenки, где они ворочались без сна, озарял свет огненный, и раздавался громopodobный глас Божий. Некоторые записывали, что им сказал Бог, затем печатали за свой счет или за счет своих сторонников. Однажды я нашел на чердаке толстую черную книгу, похожую на Библию, – пошел с ней к отцу, спросил, что это за книга. Отец не ответил, а книгу забрал. Потом уже я обшарил весь чердак, но так ее и не нашел. Мне тогда показалось, что я ненароком приблизился к тайне, которая отделяла мир взрослых от мира детей. Но в то время все еще было цельным – материнская утроба деревни и бушующий мир окружающей жизни, событий истории и сказаний, которые были одинаково реальными, а еще непостижимые в своей огромности силы вселенной – все было цельным, потому что был вседержавший бесплотный добрый Бог – ему нужно было молиться, у него полагалось просить прощения, и в то же время от него можно было ожидать чего-нибудь хорошего, светлого, желанного, как от загадочного, чудесного дядюшки, проживающего за облаками. Добро и зло были твердо установленными понятиями, каждый день ты сдавал экзамен, за каждый поступок как бы выставлялась оценка, поэтому, кстати, и школа была с нами так сурова – школа была продолжением небесного порядка: для нас, детей, взрослые были все равно что полубоги. Мир, познаваемый опытом, был невелик, ограничивался бестолковой деревней, – огромен был мир легенд и преданий, он плыл в загадочном космосе, полном сказочных миров, с героическими сражениями, неисчислимыми тайнами и внезапно озаряющими догадками, которые ничем не проверишь. Этот мир ты должен был принимать на веру. И ты, беззащитный и нагой, был отдан вере.

Снова приехав в деревню несколько лет тому назад, я узнал только обступившие ее холмы, трактир на площади, пасторский дом с садом, где поредели деревья, – исчезла и ель, на которую я любил залезать; церковь перестроили, все как будто уменьшилось, стало тесным, хотя деревня разрослась; прибавилось индустрии, по Бернской дороге стояли склады отопительных котлов. Я ощущал себя чужаком, – только поднявшись по лестнице от старого здания школы к домам на холме, пройдя возле сваленных в кучу еще влажных поленьев, я вдруг почувствовал, что вернулся домой, – этого запаха, запаха сырых нарубленных дров, я не слышал с юности. Но меня ждала еще одна встреча с юностью, призрачная. В здании большой больницы патологоанатом с гордостью показал мне современно оборудованный морг, перед входом стояла группка крестьян, дожидавшихся, когда их позовут посмотреть на «дедушку», я заметил там старуху с тощим букетиком цветов – должно быть, вдова старика, «бабушка». В морге лежал дед – уже вскрытый. На столах лежали еще два мужских

трупа, рядом в мисках их мозги. Дедом и еще одним покойником занимались ассистенты прозектора, работник морга зашивал третий труп, грубо, точно шорник седло: труп дергался. «Ну что ж вы так люто, – бросил ему прозектор, видимо смущенный моим присутствием. – Незачем так лютовать!» Потом он спросил, какой диагноз врачи поставили старику, когда тот, еще живой, лежал в клинике, спросил о возрасте – восемьдесят, и сказал, что в молодости крестьянин мог в школе военной подготовки подхватить сифилис, а впрочем, сейчас посмотрим, – и запустил руки в кишки деда. Рядом со столом, на котором производилось вскрытие, стояли весы, совсем как те, что на разделочном столе в мясной лавке, и даже с ценниками. Один из ассистентов положил на весы печень. В дверях появился хирург с зажатой во рту сигаретой, он спросил, есть ли уже заключение по трупу, который зашивали – который подпрыгивал на столе; ему поставили неправильный диагноз. Прободение кишечника, верно, однако сверх того там рак почки с метастазами в кишечнике. Хирург, надувшись, ушел. Патологоанатом, торжествуя, подозвал к себе ассистентов: на стенках кишечника он обнаружил следы застарелых сифилитических язв, характерные пятна, это же сенсация – сифилис такой великолепной, зрелой стадии нынче стал редкостью. Затем он пожелал взглянуть на головной мозг. В которой миске? В этой? Нет, в той. Вот, и здесь, смотрите, признаки сифилитического поражения, фантастика! Последствия сифилиса – кровоизлияния в мозг, это и есть причина смерти, а вовсе не воспаление легких, которое было диагностировано. Да и когда диагнозы были правильными! Дело случая. Если у одного оказался рак почки, он запросто может быть и у другого. Патологоанатом покопался в кишках «дедушки». Вот, тоже рак почки, объявил он счастливым голосом. Один диагноз у двоих, в его работе это часто случается. Ему возразил работник морга: для статистики не хватает еще двенадцати трупов; патологоанатом его утешил, мол, в декабре наверстаем, недостачи не будет. Пока продолжался этот макабр, это торжество исследовательского усердия, все это отчасти даже веселое медико-криминалистическое предприятие, я, примолкнув, уйдя в себя, вновь очутился в своей прежней деревне, снова увидел скотобойню, в нос ударила вонь крови и мочи, как сорок лет назад, когда большие, ни в чем не повинные животные валились замертво так близко от нашего дома и в канаву темными потоками бежала их кровь.

Он не отвечал моим представлениям о художниках. Он иногда приходил к нам, очень опрятно одетый, в нашей садовой беседке пил лимонад. Мама сказала, он богатый человек, но неудачно женился, так как жена у него ревнивая. Его излюбленным жанром были пейзажи, обычно с храмом в центре композиции. Один такой пейзаж висел у отца в его кабинете, куда отец вызывал нас, чтобы молча, печально выслушать наши признания. На этом пейзаже пастелью была изображена невероятно зеленая лужайка перед маленькой церковкой в Амзольдингене, первом приходе моего отца. Других картин этого художника отец не покупал. Зато в его кабинете висела копия Рембрандта, цветная, в размере оригинала. Отец приобрел ее в память о сданном государственном экзамене. «Проповедник меннонитов Корнелий Ансло и его жена». Проповедник с жаром говорит что-то пожилой женщине, оба озарены светом, горит свеча. Я не любил эту картину. Корнелий Ансло походил на все более богатевшего инспектора мусульманской миссии в нашей деревне. Где-то жил еще один художник, не то за Балленбюлем, не то над деревней Урзеллен – где именно, я не знал. Иногда, раза два-три в год, я видел его на скамейке у дверей нашего дома, он спал, отвернувшись к стене. Он, значит, решил начать новую жизнь и дать моему отцу «подписку», как именовалось вступление в общество Синего Креста, а чтобы принять решение, сначала изрядно «принял на грудь». Отец не будил его, ждал, когда художник проспит, тот ведь никому не мешал, а вечером он давал «подписку». Обращения хватало на неделю новой жизни, но отца это не смущало: трезвая неделя – уже прогресс. А потом в деревне объявился третий художник. Он вернулся из Базеля, где учился после того, как мой отец убедил родителей парня, что живопись вполне достойное профессиональное занятие. Этот художник написал мой портрет и портрет моей

сестры, в старинной манере, маслом на деревянной доске, полученной в дар от церковного совета; на заднем плане изображен ландшафт в окрестностях нашей деревни – лесистые холмы, на них крестьянские дома. Хорошо помню этого художника – осанистый, моложавый, с большими глазами и встрепанной шевелюрой. Разочарованием для меня было то, что он писал в основном пейзажи, тогда как я восхищался офортами Рембрандта и ксилографиями Дюрера на темы Апокалипсиса, «Лист в сто гульденов»,⁶ «Три креста»,⁷ Распятие, тьма, скрывающая небо и землю, ангел, нисходящий в огненных столпах, архангел Михаил, копьем поражающий дракона, ангелы-мстители, избивающие людскую толпу.⁸ Картины обрушивались на меня как горный обвал – и не отпускали. Врач, как раз в те дни открывший в деревне свою приемную, дал мне альбом Рубенса, – должно быть, ухмыляясь про себя: мои родители смутились, увидев, сколько там тучной плоти. А я пришел в восхищение от «Битвы амазонок»:⁹ дикое месиво людей и коней на мосту, удары и столкновения, Тесей наносит страшный сокрушительный удар, афиняне наступают, амазонки обращаются в бегство, тела женские, конские срываются вниз, в воды реки, битва идет даже в небе, где буйно смешались облака. Но еще больше поразила меня «Охота на львов». В сущности, это охота на людей: два свирепых хищника – лев в броске и разъяренная львица – кинулись на людей, те в ужасе отбиваются. Я часами рассматривал и другую книгу, которую дал мне врач, альбом Арнольда Беклина, к ней я возвращался снова и снова. Фавн, с ухмылкой выглядывающий из зарослей тростника, пятна ослепительного солнечного света, огромный дракон выползает из пещеры, два кентавра сошлись в жаркой схватке, третий получеловек-полуконь поднял и в следующий миг обрушит на них каменную глыбу. Позднее на книжных полках в кабинете Германа Гримма¹⁰ я нашел иллюстрированную биографию Микеланджело. Страшный суд, вознесение праведных, низвержение осужденных; князь Аида Минос, обвитый змеями, одна из них впиалась ему в срам; Харон, с занесенным для удара веслом. Я начал рисовать, подражая Микеланджело. Рисовать женщин было неинтересно – ну грудь, ну длинные волосы, женщины еще не играли роли в моих фантазиях. «Копировать», учиться на натуре, заниматься наблюдением я считал ниже своего достоинства и не сомневался, что художник всем овладевает только силой собственного воображения. В моих рисунках начисто отсутствовало анатомическое и биологическое правдоподобие, рисунок что-то значил – этого мне было достаточно; и вот так, особо не утруждаясь, я рисую и пишу красками по сей день. Когда я показал Варлену¹¹ одну из моих немногих живописных работ, «Катастрофу», написанную в 1968 году, великий художник уставился на нее в изумлении, отказываясь верить своим глазам. На мосту через глубокое ущелье на высокой скорости столкнулись два переполненных людьми поезда. Оба, вылетев из туннелей навстречу свободе и гибели, обрушиваются вниз, на другой мост, по которому движется шествие коммунистов. Мосты, вагоны, пассажиры, коммунисты – все низвергается в ущелье, на стоящую там церковь, к которой стеклись толпы паломников, все они гибнут под развалинами храма. А наверху, над ущельем, в синем весеннем небе происходит столкновение солнца с другим солнцем, удар, знаменующий гибель Земли и всех планет Солнечной системы. Варлен долго молчал, наконец высказался, пожалуй, слегка озабоченно: «Взрослый человек не должен рисовать подобные вещи».

⁶ Офорт Рембрандта «Христос, исцеляющий больных» (1642–1646).

⁷ Иначе – «Три распятия», офорт Рембрандта.

⁸ Сюжеты гравюр Альбрехта Дюрера из цикла «Апокалипсис» (1497–1498).

⁹ Картина Рубенса «Битва греков с амазонками» (1618).

¹⁰ Гримм Герман Фридрих (1828–1901) – немецкий литературовед и историк искусства, автор фундаментального труда «Микеланджело. Его жизнь в истории и культуре той эпохи – эпохи расцвета искусства во Флоренции и Риме» (1-е изд. 1907).

¹¹ Гуггенхайм Вилли, псевд. Варлен (1900–1977) – швейцарский художник, фигуративист.

Согласен, он прав. Подлинную авантюру рисунка и живописи, поединок художника с его объектом – потому-то я так люблю писать портреты – я открыл для себя поздно, когда осознал, что смысл рисунка и живописи не в копировании, а в отображении. И все-таки я снова и снова поддаюсь своей давней склонности – воплощаю картины своей фантазии. На столе у меня рядом с рукописью лежит лист толстого белого картона, я подолгу к нему не притрагиваюсь, но в один прекрасный день небрежно провожу первую линию, затем на переднем плане быстро появляются очертания, например, города, за ним, однако ниже линии горизонта, возникает схватка двух огромных чудовищ, а в небе – галактики, звездные системы. Откладываю картон в сторону, иногда несколько дней к нему не притрагиваюсь, потом снова принимаюсь черкать пером, заполнять густой штриховкой кусочек неба, и тут на меня накатывает страсть – из ничего, из белой пустоты листа, словно сам собой создается мир. Я рисую ночи напролет, одну ночь, вторую, не чувствуя ни малейшей усталости. Никогда не смог бы так работать над своей писаниной. Изображение возникает непосредственно, у меня на глазах, временами я останавливаюсь, вешаю картон на стену и рассматриваю, отступив на несколько шагов, потом опять кладу на стол, соскабливаю что-нибудь бритвой, опять вешаю картину на стену – теперь лучше, но пропала интенсивность выражения. В очередной раз кладу картину на стол – вообще-то, этой ночью я собирался поработать над рукописью, – подправляю картину кистью, затем пером, скребу бритвой, счищаю какой-то фрагмент, прорисовываю пером какую-то линию, опять вешаю картину на стену, отхожу на несколько шагов – вот так и топчусь туда-сюда до рассвета. Наконец, убедившись, что рисунок пером хорош, я в изнеможении бреду через сад вниз, к жилому дому, следом сонно плетутся собаки, я лишь мельком замечаю свинцовый блеск озера, далекие и в этот ранний час словно прозрачные Альпы, огромное светлеющее небо. Но еще до полудня я снова берусь за свой рисунок, хотя по правде-то должен писать, так нет же, я не устоял перед искушением еще разок взглянуть на рисунок, и нужно-то было – всего одну деталь подправить, но, занявшись ею, я переделываю еще что-то, потом и еще; наконец вставляю рисунок в раму, уверенный, что теперь он закончен, вешаю на стену и только тут, в это самое мгновение обнаруживаю, где была допущена главная, ключевая ошибка. Вот в драме подобный отход на некоторую дистанцию возможен лишь во время последних репетиций, когда серьезных изменений в текст уже не внесешь; с горя подправляешь какие-то мелочи, а существенные просчеты неустранимы; у тебя словно пелена упала с глаз, ошибки, ключевые, чаще всего возникают из-за случайной глупости: когда писал, исходил из чего-то такого, чего вовсе не стоило ожидать от зрителя, а когда наконец догадался, что да как надо было сделать, пьеса уже провалилась. Так из-за нелепых мелочей я растратил кредит, в свое время открытый мне в театре. А в прозе этот «отход», который позволяет окинуть взглядом все в целом, дается еще труднее. Проза ускользает, ее уносит поток времени. Мне не остается ничего, кроме как плыть по течению. Сколотить плот, то есть выстроить концепцию, – до этого у меня никогда не доходили руки. Я и рисую «напролом», и пишу так же, однако последствия этого в моей литературной работе оказываются гораздо более тяжелыми: перерыв, недолгая поездка – и я выброшен из потока времени. А значит, опять и опять начинаю заново, от начала до конца правлю или переписываю написанное ранее. И вот, когда уже кажется – все, проза закончена и осталось только придать ей приемлемый для печатания вид, при «последней правке» опять начинается эта история: я снова предаюсь власти времени, уносящего прочь все, что уже написано. Новые изменения делаешь на новой волне времени; я перечитываю написанное – то, что уже застыло, несмотря на внесенные изменения, – и в этот момент оказывается неимоверно трудно признать написанное приемлемым. Отсюда мое отвращение к правке, потому что я не могу остановиться, правлю и правлю, снова и снова, в последний раз, самый последний, самый-самый последний. Безусловно, можно изменить что-то существенно важное и в законченной картине или рисунке, однако изображение непосредственно, то есть оно

вне времени, и тем самым оно всегда под контролем: звери и город слишком срослись, звери словно всей тяжестью навалились на город, что я замечаю лишь через несколько недель после окончания работы. Но начинать сначала, снова нырять в «поток времени» не нужно. Медицинским скальпелем я счищаю с неба над городом туманное облако, из которого выступают два зверя, – теперь они ушли в глубину и кажутся еще громадней. Потом я прорезаю галактики лучами света – от взорвавшейся сверхновой. Рисую тушью, подчищаю, скребу, тем временем в динамиках проигрывателя ревут симфонии и квартеты, я не слушаю, просто они горячат кровь, во мне сейчас оживают все мои прежние картины и рисунки. Счастливый, свободный, ибо я теперь избавлен от писанины, от этой постоянной невыносимой сосредоточенности, я добавляю звезд в одну из галактик, теперь она плотнее, а от второй оставляю лишь что-то туманное в черном мраке вселенной. Со стены в спальне, где они провисели годы, я снимаю другие картины, так как наконец-то открыл, в чем ошибка. На одном рисунке я изобразил Вавилонскую башню в виде незавершенной огромной статуи, женской фигуры, но, отступив подальше, отчетливо вижу на рисунке только незаконченное изваяние, а не башню. Переделываю изображение города, задний план, – все без толку. Несколько лет я считал этот рисунок неудачным, а теперь, вдруг что-то сообразив, я рисую внутри женской фигуры некие жилые помещения, все больше превращаю его в башню. В итоге там как бы два архитектора приложили руку: один строил гигантскую башню, другой – гигантскую статую женщины.

Или вот, встаю ночью и принимаюсь за «Вселенную», что висит в холле, и спустя час заново датирую полотно – теперь оно закончено. Ложусь и в ту же минуту понимаю, что именно надо будет изменить в нем завтра с утра. Верно, я иногда месяцами, а то и годами не создаю рисунков и картин, а вот пишу, с тех пор как стал литератором, постоянно. Дело в том, что, занимаясь рисунком и живописью, я всегда возвращаюсь в детство; единственное вообще возможное возвращение – это возвращение к творческому потенциалу ребенка. И мне все еще иногда кажется, что надо было устоять перед искушением литературы и заниматься только живописью. В деревне я рисовал цветными карандашами на обратной стороне листков с объявлениями о смерти. Моя первая работа кроющими красками появилась на свет в студии деревенского художника, в окружении этюдов большого формата, которые он привез из Базеля. Художник подарил мне твердый картон размером метр на метр. Я написал битву при Санкт-Якобе на Бирсе, причем извел изрядное количество киновари. Позже, осмелев, написал маслом «Всемирный потоп», не поскупившись на кобальт и берлинскую лазурь, раму для этой картины сделал восхищенный моими художественными талантами деревенский плотник, не забывший, однако, прислать счет за работу моим родителям, чем привел их в недоумение, так как, по их представлениям, счет был ни с чем не сообразный; но плотник изготовил раму из превосходного дерева и тщательно ее отполировал. Я продолжал, нарисовал иллюстрации к «Нибелунгам», «Розовому саду Лаурина, короля гномов» и «Черному пауку» Иереми Готтхельфа. Гриби, наш учитель в начальной школе, часто стоял у меня за спиной, молча, так что я его не замечал, и смотрел, как я вместо решения задач по арифметике рисую на грифельной дощечке морское сражение при Саламине или поражение спартанцев в Фермопилах. В 1933 году я получил награду от «Календаря Песталоцци» – часы «Зенит» за рисунок «Швейцарская битва». Рисунок напечатали, а я так разволновался, когда дома распаковывал часы, что уронил их на каменный пол. Вдребезги разбились, не починишь.

Детская тюрьма, именуемая школой, созданная якобы с целью дать детям то образование, которое, по мнению взрослых, необходимо, чтобы не пропасть в жизни, эта тюрьма при поддержке родителей и учителей – даже Гриби однажды энергично вмешался – со временем и меня вывела на путь: я начал читать. Что отнюдь не разумелось само собой. Мы, дети, гово-

рили на сельском бернском диалекте немецкого¹² (на нем я говорю и сейчас), к ужасу нашей мамы, гордившейся своим «красивым городским бернским». А ведь мама была из крестьян, так что в смысле языка я считал ее в некотором роде предательницей; у отца же речь была «другая», потому что его детство прошло хоть и в Бернской области, но в «другом» месте, – в общем, у отца все было в порядке с языком, хотя мы и смеялись над кой-какими необычными словечками, мелькавшими в его речи. Но тот немецкий, который мы учили в школе, не имел с бернским диалектом ничего общего. Это был письменный язык, все равно как иностранный, и то, что нам задавалось читать в школе, было далеко не так неинтересно, как рассказы людей, а люди говорили на бернском диалекте. Дабы утолить мою любознательность, от древних греков отец перешел к Гауфу, от него к Готтхельфу,¹³ он даже взялся за чтение такого старика, как Музеус, чтобы потом пересказывать мне его сказки. Отцу не приходило в голову, что тем самым он ограничивает мое самостоятельное чтение, – ведь в обязательном порядке мы должны были читать лишь книги, которые, по мнению взрослых, хороши для детей: родителям хочется, чтобы реальная жизнь их дитяти была вроде той, что описывают детские писательницы. Я, как и другие деревенские ребята, должен был читать «Христель», «Два Б» и «Хайди»,¹⁴ между тем мое воображение занимали «Нибелунги» и «Черный паук» Готтхельфа. Как и другим детям, школа отравила мне «Робинзона Крузо», а от школьной хрестоматии только и осталась в памяти ее красная обложка. Правда, основательно порывшись в отцовской библиотеке, я выкопал «Избранные сочинения» Шекспира, «иллюстрированное издание, с общим числом иллюстраций около четырехсот», вот их-то я и рассматривал снова и снова, без конца, мою фантазию волновали напечатанные под картинками таинственные строки: «...позволь устам моим прильнуть к твоим – не будь неумолима»;¹⁵ «Мерзавец, помни: ее позор ты должен доказать!»;¹⁶ «Но тише, видите? Вот он опять! Стой, призрак!»;¹⁷ «Ха-ха! Жесткие на нем подвязки!»;¹⁸ «Я, кажется, сойду сейчас с ума. – Что, милый друг, с тобой? Озяб, бедняжка?»;¹⁹ «Кровавый отблеск пасмурной зари лег на холмы...»²⁰ Но сами по себе, вне контекста, эти строки мне мало что говорили, поэтому я отложил Шекспира. Отложил и богато иллюстрированные книги издательства Вельхагена и Клазинга об анабаптистах, Вавилоне и Ниневии; разве мог я тогда догадываться, что однажды они станут для меня важными; не заинтересовался и диковинной книгой с картинками из жизни турок. А потом мир легенд и сказаний как-то потускнел. Я вошел в подростковый возраст, герои Древней Греции и Швейцарской Конфедерации уступили поле боя иным героям, мое воображение находило себе пищу в других книгах – первым надо назвать религиозно-фантастический роман Джона Баньяна «Путь паломника» (1660–1672), написанный английским баптистским проповедником в тюремном заключении; «для верующих англичан эта книга и в наши дни стоит на втором месте непосредственно после Библии» (сообщает «Энциклопедия» Брокгауза 1953 г.). В ней повествуется о человеке по имени Христианин, совершившем странствование из Города Разрушения в Небесный Иерусалим. Когда мои родители, несколько позднее, скептически высказались о Карле Мае, я удивился – его герои не

¹² Швейцарский вариант немецкого языка, включает группы диалектов, в том числе нижнеалеманские (базельские) и верхнеалеманские, к которым относится бернский диалект, опять-таки не единый, а охватывающий различные говоры.

¹³ Иеремия Готтхельф (1797–1854) – швейцарский писатель, автор романов и повестей из народной жизни.

¹⁴ Наиболее известная из этих детских книг – повесть «Хайди. Годы странствий и учения» швейцарской писательницы Иоганны Спир (1880).

¹⁵ «Ромео и Джульетта». Акт I, сцена 5-я. Пер. Т. Щепкиной-Куперник.

¹⁶ «Отелло». Акт III, сцена 2-я. Пер. Б. Пастернака.

¹⁷ «Гамлет». Акт I, сцена 1-я. Пер. М. Лозинского.

¹⁸ «Король Лир». Акт II, сцена 4-я. Пер. Б. Пастернака.

¹⁹ Там же. Акт III, сцена 2-я. Пер. Б. Пастернака.

²⁰ «Король Генрих IV». Акт V, сцена 1-я. Пер. Б. Пастернака.

менее благочестивы, да и сами приключения мало чем отличаются: у Баньяна Христианин побеждает дьявола в Долине Теней, у Мая Сантер убивает Виннету в кратере на горе Хан-кок. Темно-зеленые томики из полного собрания Мая мне давал читать один пенсионер, в прошлом кондитер. Он жил в Грюнэгге, звали его Бютикофер, дородный, больной диабетом старик с черной бородой. У него я чувствовал себя более непринужденно, чем дома с родителями. Томики он давал по одному, разрешая забирать их с собой и давать для прочтения еще кому-нибудь, – книжки буквально рвали из рук, владельцу я возвращал их сильно потрепанными, но старика это не огорчало. Я прочел их все. На веранде, улегшись животом на канapé, которое мы купили на распродаже мебели из маленького замка замерзшего в снегах аристократа, я вслух читал маме сцену гибели Виннету, сдавленным голосом, со слезами на глазах, и вдруг заметил, что звуки, которые я принимал за мамины всхлипывания, на самом деле – смех. Больше всего меня занимал город мертвых в романе Мая «Ардистан и Джиннистан». Это было мне близко – недаром же по соседству с нашим домом находилось кладбище. В школьной библиотеке был Жюль Верн – «Таинственный остров» и «Путешествие к центру Земли». Вместе с профессором Лиденброком я, совсем как Геракл в Аид, спускался в кратер исландского Снефелса, пробирался по невероятно запутанной системе подземных коридоров, переплывал огромное подземное море, на берегах которого произрастали леса грибов и паслись стада мамонтов, охраняемые первобытными людьми. В этой литературе – о ней никто никогда не говорит, но почти все отдают ей дань в юные годы, и ее влияние на творчество сильнее, чем мы думаем, – я вновь встретился с героями мифологии, истории, веры и науки, о чьих деяниях уже знал по рассказам взрослых. О том же, что взрослые обходили молчанием, свидетельствовала принадлежавшая сыну садовника таинственная красная книга, с голыми женщинами, с монахами, хватающими за груди монахинь, – эту книгу у нас тоже передавали друг другу, и она буквально провоняла спермой тех, кто читал ее, держа в левой руке. А вот о том мире, который, как нам казалось, взрослым был мало знаком, – о мире за пределами нашей деревни, близлежащего города и горных курортов, мы черпали знания из книжечек в бумажном переплете о приключениях Джона Клинга; их мы покупали в привокзальном киоске. Доказательством реального существования этого большого мира стал самолет-биплан, который однажды опустился на равнину близ Инзели и долго катился, подпрыгивая, пока не остановился. Вся деревня к нему сбежалась. А в один прекрасный день в небе над близлежащим городом повис огромный, блестящий, величественный цеппелин, и нам ничего не стоило вообразить на его борту Джона Клинга – как он, с неизменной сигарой в зубах, гоняется по проходам воздушного корабля за преступниками. Мы прикатили к цеппелину на велосипедах, а когда он уплыл, пришлось возвращаться домой на своих двоих, – налетел страшный шквал, и уже по-летнему зеленевшую землю замело снегом. Продрогший до костей, я забрался под одеяло к своим книжечкам, которые читал при свете карманного фонарика. В них рассказывалось о великих злодеях, о немыслимо богатых банкирах, торговцах оружием и главарях гангстеров, о набобах, что владели золотыми приисками и нефтяными скважинами, повелевали финансовыми империями, подкупали политиков, грабили целые народы. Бесчисленные книжки передавались из рук в руки, тайком, так как учителя пытались бороться с дешевым чтивом, полагая, что единственно правильное чтение для нас – это «хорошие книги для юношества». Как-то раз учитель немецкого языка проверил ящик моей парты и нашел там целые кипы презренных книжонок. Слава богу, я читал их, а не «книги для юношества», – именно дешевое чтиво открыло мне ту нехитрую истину, что неустройство и беспорядок творятся не в мире детей, а в мире взрослых, и мне подумалось, наверное, Господь Бог, дав нам десять заповедей, даже не подозревал, на какие чудовищные подлости способен человек. Я начал расшатывать мироздание своей юности, и оно обрушилось – слишком быстро.

После этого у меня было еще две встречи с деревней: когда мы с женой ездили к художнику Варлену. На автострате стоял синий указатель с названием. Мы проехали мимо. У Варлена провели несколько дней. Из последних его работ на меня особенно сильно действовала картина грязно-охристого тона, вертикального формата, не очень большая, на ней в глубине или в пустоте изображена белая с черными пятнами сука, подыхающая или уже издохшая. Я хотел купить эту картину, но художник запросил цену, которая была мне не по карману. Потом мы с Варленом поехали в Сольо, и по дороге он заговорил о своей болезни, от которой поправился, как сам он думал, — когда он рассказал о том, какое прошел лечение, я понял, что он обречен. Варлен захотел написать мой портрет. Мастерская походила на сарай, загроможденный картинами гигантских размеров. Жарко, духота. Громадные картины вызвали у меня чувство тревоги, но лишь много позднее я понял, что эта живопись была для Варлена попыткой спастись от смерти. Выражением его борьбы, при полном понимании неизбежного проигрыша, было и то, что он написал меня, а затем и своего друга Эрнста Шредера лежащими на жуткой железной кровати, которая стояла в сарае. Шредер, по словам Варлена, сам этого захотел: потребовал, чтобы Варлен написал его портрет, Варлен, недовольный тем, что снова приходится работать, спросил, чтобы отделаться от Шредера, прихватил ли тот с собой театральный костюм, потому как актера он, дескать, может написать либо в костюме, либо обнаженным. Шредер разделся догола и лег на кровать. Меня позабавила эта история, но лишь теперь, спустя год после смерти Варлена, я сообразил, что со мной-то он поquitался более жестоко, заставив лечь на кровать. В начале работы над портретом я позировал, кое-как примостившись на жестком стуле, — кожаное кресло Варлена, стоявшее возле кровати, было очень уж страшное. Варлен затягивал работу до бесконечности, то уголь куда-то подевался, то краски, моя жена помогала искать, потом он сто раз начинал все заново на огромном холсте. В конце концов, смертельно устав и измаявшись от жары, я улегся на кровать — иначе просто уже не было сил позировать, сбросил ботинки, стащил носки. А Варлен вдруг разошелся и написал-таки меня, разъяренного тем, что должен лежать на кровати, дурак дураком, — я это я, при чем тут кровать?! — написал, гордый тем, что, чуя близкую смерть, все-таки загнал меня на эту кровать, на которой ему самому предстояло принять свою судьбу. На заднем плане он набросал и ту картину, которую я не смог купить, — издыхающую собаку. Спустя полтора года друзья привезли меня к Варлену. По моей просьбе мы поехали дорогой через деревню. Я знал, что состояние Варлена ухудшается. Перед отъездом из Невшателя я отнес нашу заболевшую сучку в ее клетку, она бесильно повалилась на пол. Я знал, что больше ее не увижу. После моего отъезда жена перенесла собаку в дом, просидела возле нее весь день и всю ночь, утром пришел ветеринар и, сделав укол, усыпил собаку. В дороге я был поглощен мыслями о больном животном, в моей памяти соединившемся с издыхающей сукой на картине Варлена, и даже не осознал, что мы проезжали через деревню.

С деревней пришлось расстаться, когда мне было четырнадцать лет, — отцу предложили место в городе, и он согласился. Я покинул знакомые места, привычные тайные тропки в хлебных полях, овинах и лесах и с тех пор блуждал в необозримом лабиринте, откуда не выводила ни одна дорога. Лабиринт стал реальностью. Помню свои первые впечатления, всюду — лабиринт: длинные коридоры в евангелической семинарии для учителей, где я катался на трехколесном велосипеде, когда меня на время оставляли у тети; таинственные освещенные переулки, через которые мы с мамой возвращались домой, на трамвае, ехавшем в сторону вокзала, а значит — и нашей деревни, — мои ранние воспоминания, будто бы я блуждал в подземных коридорах и залах, впоследствии подтвердились. В этом городе ходишь не по улицам и переулкам, а под аркадами, в сводчатых галереях, что тянутся по обеим сторонам улицы, — идешь словно по длинным коридорам с плавными изгибами и поворотами, а когда я поднимался на башню собора, улицы города сверху казались пустыми, как будто

люди попрятались по домам или забились в темные каморки, скрылись за серыми сложенными из песчаника стенами, которые иногда на закате вдруг необычайно ярко озарялись последними лучами солнца. Кладбище в деревне вот так иногда озарялось вечерним светом – надгробия и чугунные кресты были словно облиты золотом. В одном из холмов, со стороны Эмменталя, были огромные разрезы каменоломни, там вырубали город, и там он остался как бы в виде негативного изображения. В каменоломню я ходил часто, любил и бродить по ночам до самого утра в городе или вдоль реки, петлей охватывающей город. Но какой путь ни выбери, ты все равно окружен городом, что на одном, что на другом берегу реки, которая загадочным образом и обвиняет город, и сама им окружена. Поэтому я иногда притворялся, будто мне ничего не стоит вырваться из города, хотя эти попытки к бегству предпринимал лишь для видимости. Я выбирался из города и шагал по дороге, она долго тянулась в лесистой долине, похожей, как мне казалось, на Долину Теней из книги Джона Баньяна, затем приводила в котловину, где стояла деревня, а над ней мощный замок, ныне тюрьма. Я приближался к ним, деревне и замку, но останавливался в некотором отдалении, уже не помню точно где, помню только вид замка-тюрьмы, всегда один и тот же. Иногда я удибал на Тунское озеро; стоял на носу колесного пароходика, озеро было точно лист серебра, а Низен – единой невыразимых размеров кулисой, как бы из черного картона. Ночевал я вместе с помощниками садовника – они же были и ночными сторожами – в Доме сестер милосердия, где теперь отец исполнял пасторские обязанности. За нашим домом, приткнувшись к склону, поднимался большой парк. Я вылезал из окна и соскальзывал вниз, цепляясь за оконную ставню первого этажа, и тем же путем, часто уже на рассвете, возвращался в свою комнату. А с помощниками садовника я пил пиво и шнапс, и один из этих парней, молодой белокурый немец, с гордостью показал мне фотографию своей невесты, голой, пышнотелой. Французские журналы с еще более впечатляющими ню я покупал в Старом городе у букиниста; так как я знал, где они лежат, можно было ни о чем не спрашивать хозяина, а он молча принимал деньги. Дом, где мы жили, стоял у реки и был такой же древний, как и сам город. Он многое повидал на своем веку – был лечебницей, борделем, затем резиденцией английского дипломата.

Рядом с нами жил старший садовник. Его овчарка сидела на цепи, я часто спускал ее и брал с собой на прогулку. Пес был незлобный, а все-таки однажды набросился на меня – неожиданно, во дворе, в той его части, где за дощатым забором была улица. Вдруг превратился в зверюгу – возможно, голоса прохожих сбили его с толку. Мама кинулась спасать меня, напрасно, пес вцепился мертвой хваткой, мы отбивались изо всех сил, я, одурев от злости на здоровенного, черного, лютого зверя, даже не чувствовал боли. С балконов соседнего дома, многоквартирного, глазел народ – погода прекрасная, яркое солнце, я точно на арене, наконец подоспевший на помощь садовник оттащил пса. Я был весь в крови, одежда разорвана в клочья, пришел врач, собаку застрелили – люди скоры на расправу с животными.

Вечером, когда смеркалось, я любил смотреть из своего окна на город. На другом берегу реки, против света, он был точно черный силуэт горизонтального формата – высокие печные трубы, бесчисленные остроконечные крыши, ратуша, католическая церковь, в моей памяти – мрачные. Позднее мы переселились в центр города. Заняли квартиру в одном из домов, стоявших плотным рядом против церкви Нидэггkirхе, с южной стороны дом возвышался над Выгоном, в то время – кварталом бедноты у самой реки. С нашего балкона, словно парившего над крышами Выгона, я мог видеть освещенные вечерним солнцем дома Английского квартала, они, выше по склону, казались зеркальным отражением домов, расположенных ниже. Со временем мы снова переехали за реку, на окраину. Но в школе дела мои не заладились. После нашего переезда из сельской местности в город родители, всецело полагаясь на волю Божию, отдали меня в христианскую гимназию. Я не сомневался, что, как деревенский, уж конечно, буду покрепче городских мальчишек, и напрасно, это выяснилось

на первом же уроке. Каждый школьный день начинался с молитвы, учитель французского языка молился всласть, закрыв глаза, мы тем временем плясали по всему классу. Учился я плохо, да еще на беду мой отец и мой двоюродный брат когда-то были в числе лучших учеников этой гимназии. Мне вечно приходилось повторно отвечать уроки, а против горбатого учителя греческого языка я вообще взбунтовался – гордо швырнул за окно учебник и тетрадь; учитель ехидно усмехнулся, и хотя это был просто импульсивный порыв к свободе, но весной меня из гимназии выставили. Безутешные родители сбывли меня в частную школу, где к детям относились снисходительно, – отстойник всех потерпевших неудачу в гимназии и упрямых одиночек, тружеников, которых жизнь заставила готовиться к экзаменам на аттестат зрелости. Вот и я был в числе неудачников. Я начал прогуливать уроки. Школа была далеко от дома, на другом конце города, дорога в школу вела мимо восьми кинотеатров. Еще в деревне я посмотрел два фильма. Один – в зале церковной общины, это был фильм про миссионеров в Африке, о том, до чего довела бедных негров непричастность к христианской вере и как важно было их обратить. Второй фильм был игровой, целое событие, картина об Иосифе и Потифаре, она шла в театральном зале рядом с деревенским трактиром, а с утра устроили специальный показ для школьников. Когда жена Потифара стала раздеваться, киномеханик ладонью закрыл проектор, но, к ужасу педагогов, слишком быстро убрал руку. Ну а тут, в городе, я просиживал в кино все послеобеденные часы, иногда по два раза смотрел один и тот же фильм, а родители думали, я в школе. Но было туговато с деньгами. Разжиться деньгами было непросто – приходилось врать, воровать или перехватывать займы. В школе все воровали или перехватывали займы. Утром я сидел в «Венском кафе» и читал Ницше; кожаный диван у той стены, что с окнами, круглые мраморные столики, передо мной «золотая чашечка».²¹ В школе я ссылался на болезни: грипп, мигрень, летом – сенная лихорадка. Директор, он же пастор, старичок, выслушивал подобные объяснения не моргнув глазом, было не понять, верит он нам или нет. Он преподавал немецкую литературу, старался приохотить нас к Гёте, а вокруг, куда ни посмотри, рушились гётевские идеалы. Итоговые оценки были плохими. Табели рассылались родителям два раза в году. Я их перехватывал, письменный учительский отзыв прятал, оценки подделывал. Для экзамена на аттестат оценки, выставленные частной школой, роли не играли. Это было самое гуманное, что я мог сделать для своих родителей. Между тем в «Венском кафе» я читал не только Ницше. Я прочитал «Лаокоона» Лессинга, да и мое непонятное пристрастие к Виланду тоже, наверное, родилось в те годы, и оно осталось при мне, тогда как Геббеля, которым тогда зачитывался, сегодня я просто не выношу, за исключением «Дневников». Городской театр я посещал на правах родственника. Моему дяде, старшему государственному чиновнику, по службе полагалась ложа, и время от времени он отдавал ее нам. Но театр не много для меня значил, хотя и были там хорошие актеры, дирижеры и певцы, эмигрировавшие из Германии, отнюдь не провинциалы. К музыке я был еще равнодушен. Я как одержимый занимался рисунком и живописью, рисовал углем, писал: пьяные оргии, чертей, казни. Учитель рисования в христианской гимназии обучил меня рисунку пером, который и стал моей любимой техникой; позднее один художник, дававший мне частные уроки, попытался вдохновить меня на воссоздание средствами живописи вазы с яблоками – я так и не понял, какой в этом смысл. Добропорядочную буржуазную юность я переносил как болезнь, ничего не зная о человеческом обществе и существующих в нем связях, я был береженным, хотя никто меня не оберегал, и все снова и снова штурмовал крепость, которую не возьмешь, как ни старайся, – ведь этой крепостью был я сам. Нелепые унижения и позорные оплошности, не изжитые подростковые комплексы, безделицы, раздутые до гигантских размеров, всяческого рода онанизм. Я не умел приспособливаться, не завел подруги и даже друзей. Однажды,

²¹ Мокко с молоком и пеной, венский деликатес.

когда я ночью слонялся под аркадами на Бруннгассе, со мной заговорил прохожий, человек лет тридцати: у него-де никого нет, некому о нем позаботиться, а он эпилептик; сделалось не по себе, но я сказал, что готов о нем позаботиться, и пошел к этому человеку, в квартиру на первом этаже, с окном на Бруннгассе, в какую-то мастерскую, разговор стал бессвязным, он начал запинаться, подыскивать слова, коверкать слова; я сообразил, что с ним может случиться припадок, и не ушел, а буквально убежал. Потом еще много недель он все приходил и стоял у нашего дома – выследил меня, но я больше не вступал с ним в разговоры, а теперь вот и сам не пойму, почему о нем вспомнил. У меня были школьные товарищи, мы наперебой похвалялись своими геройскими подвигами, любовными похождениями и просиживали штаны в кафе и барах; протоплазма попусту растраченного времени, беспомощной юности; ворох, казалось бы, незначащих пустяков, бывших моим мучением, ибо я все еще не покинул материнской утробы, постепенно формировался в теле матери, я был эмбрионом, я еще не родился; пуповина не была перерезана; не сложившийся, я не обладал ничем, кроме хаотичной фантазии, которая отгораживала меня от реальности и делала беспомощным, неловким, не имеющим хороших манер, их нет у меня сегодня. Мои воспоминания об этом времени несправедливы и полны ненависти, в это время я получил первые раны, которые не зажили, а сам я нанес себе эти раны или другие люди, не важно. Годы тянулись и тянулись, бесконечно медленно, это было время, когда я не знал, куда себя деть, сам себе преграждал путь, хотел что-то создавать, но не обладал созидательной силой. Лишь обрывки картин и впечатлений мерцают в том времени, далеком и вместе с тем до смешного близком, каким оно осталось в моей памяти, – в самом деле, что такое сорок или сорок пять лет? Язвительная улыбка учителя; бросающаяся на меня собака, зеваки на залитых солнцем балконах; неотвязное желание притворяться, невозможность быть самим собой, к этому вынуждали не внешние условия, не какая-то необходимость, а только мое собственное «я». Мне так и не удалось разобраться в этом городе, я и город отталкивали друг друга, я бестолково тыкался в нем, как Минотавр в первые годы заключения в Лабиринте; наверное, прошло много времени, пока он осознал, что очутился в месте, откуда нет выхода, если, конечно, вообще осознал. Я не понимал, что мне делать с этим городом, город не понимал, что делать со мной. Даже воспоминания бессильны раскрасить то время, нарисовать картинку прекрасной юности – юная свежесть канула вместе с деревней, слилась с детством, не ведающим подростковых проблем, с чем-то полусознанным и потому упорядоченным; но вот в чем воспоминания могут меня обмануть: будто когда-то, где-то там, за семью горами, мир был сплошь благополучным, – на самом деле в нем исподволь назревали все те трудности, которые начались у меня в городе, и не только трудности, но и мотивы, темы и сюжеты, появившиеся гораздо позднее.

Текущий момент не постичь. Далекое приближается лишь по прошествии времени. Реальность расширяется лишь постепенно. Конечно, ничто не происходит вне фона, где и лежат причины, в силу которых мы мыслим и пишем. Однако фон неоднороден, в разных местах у него разная глубина, как на пейзаже. На переднем плане – твои собственные переживания, родители, давшие тебе жизнь, их родители, то есть те, кто дал жизнь твоим родителям, – я знал только мать моей матери, да и ее помню смутно: высокая, грузная женщина в плетеном кресле на веранде; когда ее в гробу выносили из дома, я, трех- или четырехлетний, сидел на террасе у соседей, на лошадке-качалке. Потом появляются сестры и братья, дома, в которых мы жили, улицы, по которым ходили, деревни и города в нашей округе, люди, с кем мы дружили или враждовали. Задний план все расширяется, теперь появляются экономический, социальный, политический, духовный и, наконец, исторический горизонты. Но их уже невозможно толковать непосредственно, остается лишь давать названия горным массивам и историческим фактам. О силах, что вытолкнули их наверх, можно судить лишь опосредованно, по сведениям, которые мы получаем из вторых, третьих, четвертых

рук, по чьим-то сообщениям и сообщениям о сообщениях, а они, как любые свидетельства, подкрашены и подстрижены человеком, так что более или менее совпадают самые яркие линии, и это уже удача. Мы плывем по реке времени, но берега реки различаем лишь смутно, не удастся даже точно определить направление потока. Мы думаем, что имеем некоторое представление о землях, оставшихся позади, но оно обманчиво. То, что оставлено позади, – прошлое, следовательно, лишь нечто опосредованное. То, что мы зовем всемирной историей, можно сравнить с туманностью Андромеды, вернее, с тем, что мы в данном случае видим. Ведь сама туманность находится в недостижимом прошлом, нас отделяют от него два с половиной миллиона лет, и свет, который мы видим сегодня, она испустила тогда, когда на Земле едва забрезжили предрассветные сумерки человечества. Здесь опять-таки ничего не истолковать, не прибегая к причинно-следственным построениям, на которых основаны выводы астрономии. Но какие бы достоверные сведения ни приводила астрономия, туманность Андромеды все равно остается лишь картиной некой картины, в сущности – воспоминанием, тем более, что мы видим не только ее, но еще и наш Млечный Путь, центр которого опять-таки принадлежит прошлому, другому прошлому, разумеется; до него всего-то тридцать тысяч лет, то есть нас от него отделяет расстояние в тридцать тысяч световых лет. Мы окружены не прошлым вообще, а самыми разными «прошлыми», целым миром неразрывно связанных, пронизывающих друг друга «картин памяти». А что до нашего ближнего космического окружения, так оно не играет никакой роли, солнце пять минут назад было по существу тем же, и Млечный Путь тридцать тысяч лет назад был тем же, и туманность Андромеды являла древним людям ту же картину, что и нам, быть может несколько менее яркую, – все-таки она летит, приближаясь к нам, со скоростью 300 километров в секунду. Но невозможно игнорировать проблему прошлого и отдаленности тех галактик, которые не так давно открыла Паломарская обсерватория, галактик, удаленных от нас на два миллиарда световых лет, или проблему квазаров, а их удаленность почти равна возрасту самой Вселенной, и они уносятся от нас почти со скоростью света. Исчезни их прошлое, мироздание сжалось бы, устремившись от своей периферии, и обрушилось на нас. Наш мир вернулся бы к своему древнейшему состоянию, картину которого мы не можем себе представить, так как у него нет образа – это чистое настоящее, настоящее без прошлого, настоящее, куда время уже не прибывает, устремляясь вперед, создавая прошлое, – потому что время из будущего пошло бы в обратном направлении. Мир сжался бы в наименьшую возможную единицу времени, хронон, отрезок, не превышающий одной квадриллионной доли секунды, более того, мир лишился бы времени и пространства, стал математической точкой. Лишь благодаря прошлому, бешеной гонке разлетающихся галактик, расширению Вселенной мы видим и создаем свои образные представления, картины, пусть несовершенные, определяющиеся категориями нашего мышления.

Это относится и к истории. Она стремится запечатлеть прошлое, а в это самое мгновение от нас уносится прочь не только материя в форме солнц, атомов водорода, протонов, нейтронов и так далее, но и та материя, что порождает индивидуализированное сознание, не человечество, а отдельных человек. Поэтому и со всемирной историей не управиться, если не прибегаешь к стилизации, а стилизация ведет к всяческим обобщениям; всемирную историю нельзя написать, избежав несправедливости, ее можно представить в виде абстракции, но никогда – как что-то конкретное, ее можно сконструировать лишь путем спекулятивного обобщения. Будь она конкретной, превратилась бы в собрание документов. И неизбежно разрослась бы до размеров гигантской библиотеки, которая окружила бы Солнце, – я думаю, где-нибудь за орбитой Плутона вокруг Солнца выросло бы кольцо зданий, построенных в ряд или одно в другом, и это сооружение все росло бы, расширяясь во Вселенной, ведь фонды этой библиотеки должны включать истории жизни всех людей, когда либо живших на свете, – от древнейших времен до неандертальцев, от неандертальцев до людей леднико-

вого периода, от них до античной древности, от Античности до Средневековья и так далее, и так далее, вплоть до Нового и Новейшего времени, вплоть до той одной квадриллионной доли секунды, что отделяет историю от современности, – жизнеописания людей со всеми их мучениями, удачами и неудачами, деяниями и злодеяниями, привычками, навязчивыми мыслями, нуждами, пороками и недугами, со всей обыденностью и пошлостью, неизбежными в жизни каждого человека. Но и не только. В библиотеке должны храниться записи о всех отношениях каждого отдельного человека со всеми другими людьми, когда-либо жившими на свете, отношения, уходящие в прошлое во всей его широте и глубине. Потому что все мы связаны. Люди родственники друг другу в гораздо большей мере, чем сами предполагают, ветви и ответвления, ростки и отростки их подлинного родословного древа сплелись гуще, чем мы думаем. Кроме того, в каждом из этих гигантских описаний должны быть сновидения, мечты и грезы, но и не только: также чувства и впечатления человека, возникавшие в его жизни каждую минуту, каждую секунду. И не только чувства и впечатления, мечты и желания, но и мысли, тайные думы и весь его опыт, знания, понятия и мнения, вера и неверие, идеологии и предрассудки, – все духовное содержание каждой отдельной человеческой жизни; картины, которые снова и снова появляются, преследуют человека и, когда он умирает, погружается во мрак, остаются тем последним, что ему видится. Далее, уходящие в прошлое источники всего этого и последствия, оказывающие воздействие на будущее, – их тоже придется описать, так как они имеют отношение к индивиду. Жизнь отдельно взятого питекантропа заняла бы в подобной библиотеке как минимум несколько залов, жизнеописание какого-нибудь неандертальца – целое здание, а то и два, современного европейца – многие здания, смотря по тому, каков этот европейец, и дело не в том, что современного европейца я ставлю выше питекантропа, – просто впечатления, которые на него, европейца, обрушиваются и решительным образом на него влияют, надо полагать, неизмеримо многообразней, а так как он эти впечатления не обдумывает и не усваивает, то, надо полагать, и неизмеримо бесполезней. Сложилось бы особое собрание размытых отрывочных воспоминаний, перетекающих один в другой телесериалов, бесконечных серых будней с мельканием одних и тех же физиономий, бесконечных вечеров в киношке или перед телевизором, в компании с телеведущими и шоуменами, важными шишками, полицейскими инспекторами из сериалов, например Дерриком, с воскресными проповедями, с комиссаром Коломбо, с телевикторинами и футбольными матчами. А жизнеописание одного современного интеллектуала и тем паче литературного критика заняло бы целый комплекс зданий: не одну неделю пришлось бы пробираться через вязкое месиво полупереваренных сведений и толком не прочитанных, однако бойко обсуждаемых книг, через эту трясику, затопляющую библиотечные залы; ну а биографии таких людей, как Лейбниц, Кант, Маркс, Эйнштейн, заполнили бы целые библиотечные города. Кроме того, это и так необозримое собрание станет еще громадней к моменту гибели человечества – произойдет ли она в результате ядерной войны, космического катаклизма или из-за исключаяющего возможность жизни на Земле состояния Солнца, что ожидается, по расчетам, через несколько миллиардов лет. Потому что библиотека немислимо увеличится не только за счет количества биографий, но и из-за нарастающей лавины обзоров и указателей к уже написанным биографиям и обзорам, так как во вспомогательной литературе будут описаны причины (имевшие место в прошлом) последствий, которые уже имеют место в настоящем, и причины причин причин и наоборот: последствия последствий последствий. Подлинная биография Платона, или Августина Блаженного, или Чингисхана – привожу примеры понаглядней – со временем разбухла бы до невероятного объема, так как в случае подобных личностей последствия их жизни для всего человечества – до самого конца его истории – сегодня совершенно невозможно оценить, даже если имена этих людей будут забыты, – каких только имен мы уже не позабыли, кто назовет сегодня имя изобретателя колеса, имя охотника или знахаря, впервые нарисовавшего мамонта на стене

пещеры? А ведь появится еще одна гигантская библиотека – с описаниями реальных экономических и политических связей и отношений каждого человека, начиная хотя бы с информации о статусе какого-нибудь человека эпохи палеолита, его отношениях с многочисленной родней и системой табу, уже в те времена сложной. Однако нет вокруг Солнца этого гигантского библиотечного колеса в плоскости, перпендикулярной солнечной эклиптике, со сквозными проемами для беспрепятственного движения планет и астероидов, не существует этой истинной всемирной истории, в которой развитие человечества, происходящее в пяти измерениях – трех измерениях пространства плюс во временном и духовном измерениях, было бы представлено полностью, и не как-нибудь абстрактно, а конкретно, в виде словесных текстов. А если бы подобная библиотека существовала, то не нашлось бы никого, кто засел бы за чтение гигантского документального материала, в лучшем случае он сможет осилить историю какого-нибудь племени эпохи неолита (если, заблудившись в бесконечных книгохранилищах, не испустит дух между стеллажами), разве только войдет в этого читателя сам Господь Бог, умеющий читать с немыслимой скоростью, но Богу-то читать незачем, ему и так все ведомо. Так что любая всемирная история – не более чем собрание мало-мальски приемлемых, фрагментарных гипотез о действительной, конкретной всемирной истории, несовершенная концепция, попросту суммирующая сведения, гадающая о неведомых причинах и безнадежно утраченных материалах и документах. Первые три минуты истории Вселенной мы представляем себе лучше, чем первые три миллиона лет истории человечества. Это более чем естественно: предсказуема жизнь планет, но не жизнь людей.

В плане организации материи не Млечный Путь, не квазар, не красный гигант Альдебаран и не желтый карлик, который мы называем нашим Солнцем, а человек является самым сложным образованием в известном нам мире, как по своему строению, так и по сложно взаимодействующим химическим процессам или реакциям на внешние раздражители. Это существо, *homo sapiens*, давно переставшее быть редким зоологическим видом, состоит из огромного числа гигантских молекул, образующих клетки – слаженно функционирующие, созданные на основе генетического кода одной-единственной клетки, управляемые невероятно сложно устроенным головным мозгом, который определяет сознание человека, его мышление, логические умозаключения, а также его бессознательное, инстинкты, непредсказуемые эмоции и проявления агрессивности, более того – столь чудовищное безрассудство, что по сравнению с человеком животное кажется разумным существом. И если мы рассматриваем как некое целое всю многомерность человечества, весь этот сверхорганизм сверхорганизма, который убийственно, бессмысленно, снова и снова сам себя пытается уничтожить, то все, что мы выдаем за исторические закономерности – не важно, социальные, экономические, психологические или вовсе иррациональные, – оказывается в лучшем случае попытками найти какие-то объяснения, опираясь на весьма несовершенные статистические данные и предположения, допускающие лишь неопределенные прогнозы, а в худшем случае мы получим лишь отражающие наши эстетические установки заглавия частей того приключенческого романа, который мы называем всемирной историей. Дело не в том, что человек и человечество «как таковые» иррациональны, а в том, что «как таковые» они необъяснимы. Ведь и Сократ, тот самый, кто, как и Аполлон Дельфийский, призывал человека: познай самого себя, сознавался: я знаю только, что ничего не знаю. Посему и у меня нет выхода – я должен пользоваться расхожим каталогом исторических событий и его рубрики бубнить как пономарь на черной мессе, которую мы служим, пытаюсь втиснуть в пустые формулы всю действительность человека и человечества. Это каталог паршивой букинистической лавки, набитой захватанными и липкими от крови бульварными книжонками.

Я лежал в пеленках, ерзал, выпрямлялся, делал первые шаги, играл в саду, я впервые удра из дому и очутился на равнине, которая мне показалась бескрайней, я высидел первый день в школе, а потом еще бесконечно много школьных дней, меня все неудержимей

куда-то уносил поток времени и наконец засосал водоворот города, моя юность беспечно транжирила дни моей жизни, – а в эти годы по России прокатился вал революции, кровавой, упрямой, неостановимой, иррациональной в силу своей веры в рациональное начало, религиозной в силу своего атеизма; началась агония Британской империи, Франция, вообразив, что она все еще великая держава, выстроила линию Мажино, раскинула искусно сплетенные дипломатические сети, чтобы окончательно пригнуть Германию; Муссолини, с задраным подбородком, вошел в Рим, была оккупирована Рурская область, умер Ленин, возвысился Сталин, Троцкого отправили в ссылку – началась большая чистка, изгнание старых революционеров; инфляция в Германии и «черная пятница» в США принесли миллионам людей полное разорение, а единицам – миллиарды, Веймарская республика приказала долго жить, ее закат вынес наверх Гитлера и гнусную «народную» сволочь; Мао Цзэдун выступил в Великий Яньаньский поход, Япония, с маленьким очкастым императором на высоченном белом коне, совершила нападение на Китай; здесь и там повыныривали бывшие генералы и прочие дармоеды и сделались диктаторами, крупными или помельче. Всюду жертвы политических преследований, всюду эмигранты, всюду убитые. Абиссиния, Гражданская война в Испании, занятие Австрии, Мюнхен²² – по этому случаю в Бернском кафедральном соборе состоялось торжество: возносились благодарственные молитвы Богу, сохранившему мир, однако у Бога были другие планы или нашлись другие занятия; аннексия Чехословакии, радиовыступления Гитлера, пакт Великой Германии и Советского Союза. Пока все это шло – лихорадочно, одновременно, последовательно или как попало, мешанина из планов и контрпланов, действий и контрдействий, всюду экономические кризисы, всюду безработица, – время сделалось зримым даже непосредственно рядом с христианской гимназией: мужчины стояли в очередях перед биржей труда; наконец разразилась Вторая мировая война – наверное, были экстренные выпуски газет, специальные сообщения по радио, какое-нибудь обращение от имени какого-нибудь Федерального совета, – моя память не сохранила тот день. Он не стал каким-то рубежом в моей жизни. Швейцарию уносило навстречу неизвестности, совсем как профессора Лиденброка на плоту по кипящему потоку лавы, и невозможно было понять – к почти неизбежной гибели или маловероятному спасению. Я вместе со всеми плыл по течению, но отнюдь не «в ногу» со временем – плыл и плыл себе, без паники, без ощущения, что свершается судьба, что это сама судьба грохочет за кулисами мирового театра и уже скоро она поставит в нем величайший поворот столетия. Я был занят собой, а не окружающей реальностью, со всей силой наносившей удары своими когтистыми лапами. Восемнадцатилетний слепец сидел на плоту Лиденброка, а сегодня мне, шестидесятилетнему, иногда представляется – телевидение и всё более современные средства коммуникации так поймали меня на удочку, – будто я сам воевал во Вьетнаме и даже лично проводил эксперименты на Луне. Вот так легко мы сегодня обманываемся, воображая, что уж нас-то никто не обманет.

Из пяти лет, которые я просвистал студентом, четыре года пришлось на Вторую мировую войну. Летом 1942 года, когда я поступил в школу начальной военной подготовки, на этом же континенте, но на четыре тысячи километров к востоку, началась Сталинградская битва, и германское радио передало ликующее сообщение, что Сталинград взят. Большинство людей считали вероятным и даже определенно были уверены, что Гитлер уже победил Советский Союз. Особенно в офицерских кругах восхищались германским вермахтом, и не только им. Так, от одного полковника я услышал, что для него высшее эстетическое наслаждение – речи Геббельса. Сразу после размещения в казармах нам было предложено написать сочинение, откликнуться на текущие события. Мое, как видно, вызвало обеспоко-

²² Имеется в виду Мюнхенское соглашение, подписанное 30 сентября 1938 г. между Гитлером и главами правительств Великобритании, Франции и Италии.

енность у проверяющих – наш лейтенант, сын дивизионного начальника, подошел ко мне нерешительно и сказал, что, перед тем как совершить какую-нибудь глупость, лучше посоветоваться с ним. Воякой я был неуклюжим, не мог вскарабкаться по столбу выше чем на два метра, даже команду «Каски снять!» выполнял плохо и в наказание должен был делать спортивные упражнения раздевшись до трусов, но в каске; этот приказ сконфузил не столько меня, сколько лейтенанта. Обучение было – предел идиотизма: муштра, ругань, бесконечная чистка обуви перед перекличкой, в швейцарской армии башмаки, похоже, играли главную роль, – казалось, армия втайне озабочена тем, как будет драпать, а для видимости готовилась оказывать сопротивление. Но прежде чем удалось довести меня до уровня человекообразной обезьяны, забастовали мои глаза. Они постоянно воспалялись; пытаюсь совместить на одной линии целик и мушку, я не видел цели, а если видел цель, не мог поймать мушку в прорезь целика; наверное, глаза слезились из-за сенной лихорадки, которая тогда у меня началась. Я придумал, как продемонстрировать свою близорукость: во дворе казармы стал отдавать честь не офицерам, а приходящему почтальону. Медицинская комиссия перевела меня во вспомогательную службу, ради моих глаз, как они сказали. На самом деле они, конечно, с радостью от меня избавились, так как на вспомогательной службе я имел меньше возможностей подрывать моральный дух армии. Когда я явился доложить о своем новом назначении, командира пришлось вызвать из офицерской столовой – он вышел, пошатываясь, на меня дохнуло патриотическим перегаром вишневки. Командир сел за письменный стол. Я уже переоделся в гражданское, командир воззрился на меня удивленно: разве я не «молодой боец»? Я протянул ему свое удостоверение. Командир заорал: если Гитлер все же придет, это будет моя вина. Он не понимал, как со мной быть, да еще, кажется, перепутал меня с кем-то, потому что обозвал «социалистиком». Наконец он заметил, что держит в руке мое удостоверение, начал листать, по лицу его стекал пот. Не прошло и часа, как он все-таки поставил где надо подпись, после чего откинулся в кресле и тупо уставился в пространство, бормоча что-то невнятное. А потом сказал, что я «пру напролом», и зевнул; старик, не имевший ни единого шанса проявить героизм, как и страна, которую он представлял. Я взял со стола свое удостоверение, командир меня уже не замечал, в коридорах было пусто. Я вышел из ворот казармы; жаркий летний день; я потрусил домой; бесславное возвращение одного из бесславных солдат армии, которую судьба уберегла от славы, армии тем более бесславной, что она желает стяжать славу задним числом.

Невеселые дела; пощаженный не реализует свое положение. Страна находилась в изоляции от окружающего мира. Прежде я два раза был за границей – в 1937 году путешествовал на велосипеде: Мюнхен, Регенсбург, Нюрнберг. И Веймар – в комнате, где умер Гёте, молодчики из гитлерюгенда. Один из них, показывая на висевший у изголовья кровати шнурок сонетки с увесистой ручкой, объявил: вот этой штуковиной масоны добились Гёте, который даже не собирался умирать. Находившийся там смотритель дома-музея, яйцеголовый субъект, громко всхлипнул. Из Веймара я поехал через Айзенах во Франкфурт-на-Майне. Город, увиденный мной тогда, исчез навеки, то, что реконструировали после войны, – площадь Ремерберг, дом, где родился Гёте, и прочее – сущая пародия. В 1938 году я проводил летние каникулы в унылом пригороде Страсбурга, гостил в доме одного пастора; за мостом через Рейн стояли эсэсовцы, в черных фуражках с черепами на кокардах. Ездил на велосипеде по Вогезам и еще в Зезенгейм,²³ оказавшийся грязной дырой. Оттуда вернулся в Берн, но в Кольмар не заехал, в то время я еще не слышал о Изенгеймском алтаре.²⁴ В следующий раз я смог

²³ *Зезенгейм* – большое село, где жила дочь местного пастора, Фридерика Брион (1752–1813), которой Гёте посвятил ряд стихотворений своего так называемого страсбургского периода, в том числе «Свидание и разлука», «Майская песня», «Фридерике Брион».

²⁴ *Изенгеймский алтарь* – шедевр немецкой живописи, самое знаменитое произведение Матиаса Грюневальда, созданное в 1512–1516 гг.

поехать за границу лишь спустя двенадцать лет, – разразилась война, которая подступала все ближе и наконец окружила нашу страну, с тем парадоксальным результатом, что Швейцария осталась за пределами катастрофы. Было не понять, считал ли Гитлер ее тюрьмой, осажденной крепостью или своей производственной мастерской и почему ее пощадили – по причине ее мужества или, наоборот, трусости, или того и другого, или потому, что мировая история попросту забыла о Швейцарии, отправила ее на пенсию, поматросила и бросила, а может, поставила ее на полку, как занятую окаменелость, – ведь и такое случается. В нашем городе казалось, что война разыгрывалась где-то далеко, за какими-то кулисами. Было введено затемнение, жителям выдали противогазы, появились посты противовоздушной обороны. Часто можно было слышать гул американских и английских бомбардировщиков, пролетавших над городом, в направлении Северной Италии, завывали сирены, в ночном небе метались лучи прожекторов, зенитки изрыгали огонь и грохот, – во всем была взвинченная театральность, показуха вооруженного нейтралитета, странным образом ничуть не грозная, можно сказать идиллическая; лишь в самый первый раз мы вылезли из кроватей и спустились в подвал. Попросту смешны те, кто пытается героизировать нашу тогдашнюю жизнь, мы же знаем, что творилось в других странах. Однако именно от творившегося вокруг мое воображение получило первый импульс, и постепенно в нем сложилась картина, в которой были этот мир, этот город и эта война, нереальная, хотя и происходящая близко, эта бойня, бушевавшая за холмами Юры, за Альпами, за Рейном и еще дальше – в ливийской пустыне, на Дальнем Востоке, в степях России; эта бессмысленная резня, казалось, отдалилась от нас, но затем приблизилась, когда Германия начала рушиться, – вдвойне бессмысленная с ее брутально-мужским героизмом и тевтонской «гибелью богов».

Я попытался, взяв за основу тогдашнюю ситуацию, создать притчу. «Зимняя война в Тибете» не первый мой сюжет, он как раз составлен из других сюжетов, является их выжимкой, и это как бы мой первый основной мотив, первая попытка, основываясь на вымышленной реальности, интегрировать себя в ту реальность, из которой были исключены моя страна и я сам, и попытка в притче о нашем мире отважиться и все-таки дать некоторую общую картину. Сюжет «Зимней войны» занимал меня в Ла Плен близ Женевы в середине последней военной зимы. Я был прикомандирован к роте, сформированной на Бернском нагорье, в мои обязанности входило составлять рапорты, выписывать отпускные свидетельства. Капитан и старлей в мирной жизни были учителями и на мою полнейшую неспособность к военной службе смотрели сквозь пальцы. Зима выдалась суровая. Штаб роты разместили в дрянной гостинице, на довольно большой веранде с железной печкой, которую я должен был растапливать по утрам, да все равно ее тепла не хватало. Всюду стужа, что на улице, что в доме. Настроение было паршивое. Солдаты рвались домой, а так как всем распоряжался фельдфебель, дюжий трактирщик из Зимменталья, то и уходили домой все, кто хотел, офицеры опасались вмешиваться, их, особую касту, и так-то ненавидели. Никто уже не верил в какую-то опасность. Ходили слухи, что группа эсэсовцев пошла сдаваться швейцарской армии, и только в Женеве, на мосту Монблан их разоружила и арестовала полиция. Мы просиживали долгими ночами в деревенских кабаках, ехать в Женеву на местном поезде-подкидыше не имело смысла – слишком долго. Той студеной зимой к нам в кабаках часто присоединялись местные крестьяне, у которых были свои хозяйства в округе; в отличие от младшего поколения эти люди еще говорили на бернском наречии. Однажды я праздновал день рождения, двадцать четыре мне исполнилось, несколько солдат пригласили меня на фондю; собрались в кабаке, горячее сырное кушанье все мы пробовали впервые в жизни и белого вина выпили бог знает сколько, потом какой-то крестьянин всех позвал к себе в усадьбу, на «люцернский кофе» – в котором больше водки, чем кофе. Потом другой крестьянин, из присоединившихся к нашей компании, потребовал, чтобы мы все пошли к нему пить красное вино, после чего нас потащил к себе домой третий крестьянин – он не хотел ударить в грязь лицом,

а мы не хотели его обидеть и поплелись, шатаясь, в третий по счету бернский крестьянский дом. Дабы привести гостей в чувство, подали глазунью с пьяной вишней, – мне еще показалось, не очень-то удачное это сочетание. От гостеприимных бернских крестьян мы возвращались восвояси больше часа, никак не могли сообразить, где находимся, а холод-то собачий, мы продрогли до костей и, как нам показалось, абсолютно протрезвели. Я снимал комнату у старушки-вдовы. Заснул мгновенно, да только вскоре меня вывернуло: фондю, глазунья, люцернский кофе, пьяная вишня, все выbleвал, меня выворачивало со страшной силой, я загадил одеяло и испакостил обои, хозяйке потом пришлось заново оклеивать комнату. Однако из меня поперло и кое-что еще – необычайная веселость. Плохо мне было, как никогда в жизни, но я осознал всю мизерность своего приступа рвоты по сравнению с тем чудовищным потоком блевотины, что изрыгало человечество за пределами моей страны, и всю гротескность положения пощаженной страны, впоследствии принесшего ей больше вреда, чем можно было предполагать. Осознав же это, я наконец поставил себе задачу: если я не в состоянии жить и познавать этот мир, я должен по крайней мере выдумать мир, должен противопоставить этому миру другие миры; если сюжеты не находят меня, я должен сам выдумать свои сюжеты. И я придумал свой первый сюжет, во время перерывов в моей бумажной работе, во время долгих патрульных рейдов вдоль границы. Содержанием этого сюжета был не я сам, а «мир», что понятно: всякий сюжет жаждет быть «мировым сюжетом». Рона подо льдом, на склонах с виноградниками и равнинах снег, никакого спасения от немилосердного северо-восточного ветра. Сюжет все больше навязывался мне, постепенно – сначала как видение, и я его не отталкивал, – наоборот, я расширял его и выстраивал, когда гулял вдоль мертвой границы, передо мной клубился белый пар моего дыхания. Я шел и шел, этот прием плетения историй у меня и потом остался: я мысленно раскручиваю сюжет и все больше вживаюсь в него, погружаюсь в историю, которая, всё развиваясь, встает – и тогда уже вставала – между мной и внешним миром; хитроумно сплетенные подробности этой истории сегодня, спустя столько лет, я, конечно, забыл, тем более что тогда не сумел ее записать – все попытки кончались неудачей, и я бросил. Осталось основное – несколько строчек, чуть больше, чем заглавие, чуть больше, чем давно приснившийся, но яркий и страшный сон, похожий на те грезы, которыми я в детстве развлекался, когда меня укладывали спать в комнате для гостей на нижнем чердаке. Чердак был как раз над спальней родителей. Дверь чердака выходила на ветхий деревянный балкончик, на который я всегда ступал с опаской. Лежа в кровати, я смутно различал прямоугольник балконной двери. Правой рукой я сжимал карманный ножик, воображая, что прячусь в пещере, а вокруг кто-то бродит крадучись – огромный зверь, лихой человек? – я чувствую себя вне опасности только в пещере, даже высунуть ногу из-под одеяла смертельно опасно. И в комнате, и на чердаке что-то потрескивало, я не сомневался, что в комнате кто-то есть, эта уверенность перетекала в сон, продолжалась во сне. Так же было все и во время моих обходов, на виноградниках и в лесах Ла Плен, вдоль мертвой, серой как шифер Роны, и в моем невероятно холодном закутке в трактире, где я ночевал, с позором изгнанный из дома старушки-вдовы.

«Зимняя война в Тибете» – сюжет без сюжетного действия, собственно, бесконечный кошмарный сон, спустя два года он излился в рассказах «Город» и «Западня», но и написав их, я не смог избавиться от этого сна. В 1951 году я все-таки попытался написать «Зимнюю войну», но получились лишь какие-то фрагменты; я тогда, увязнув в нескольких вариантах «Брака господина Миссисипи», не понимал, что невозможно продолжать все эти отрывки, а надо их бросить, чтобы когда-нибудь довести их до ума. Так что я снова ввязался в кошмарный бой, опять, как несколькими годами ранее, точно одержимый принялся описывать мир бессмыслицы, в котором люди ищут смысл, – смысла нет, но без смысла не вынести жизнь в этом мире; мир этот был таким же, как мои тогдашние рисунки, – мир, перенасыщенный образами, рождающими все новые и новые образы, мир, переполненный причинами, отсы-

лающими ко все новым и новым причинам, лишь бы скрыть собственную бессмысленность. Вот так из своего личного лабиринта я сотворил мировой лабиринт. Он сохранился, он не только пережил Вторую мировую войну, но даже стал еще более запутанным, а так как, оставшись первичным и основным мотивом, он вытягивал из меня все новые образы и картины – я же должен был что-то ему противопоставить, – то в первоначальном варианте понадобилось изменить только заголовок: было «Из записок охранника», стало «Зимняя война в Тибете»; потому что я увидел того, кого прежде не видел, – рассказчика.

Важное сегодня было важным и тогда: драматургия Лабиринта, Минотавр. Изображая как лабиринт мир, в котором меня угораздило родиться, я в то же время стараюсь и отойти от него на определенную дистанцию, отступить, чтобы хорошо его видеть, – укротитель так обращается с хищным зверем. Мир, который я вижу и знаю, я сталкиваю с антимиром, который выдумываю. Используемые мной образы не случайны, они уже существуют; всякая мысль когда-то уже думалась, всякое сравнение где-то уже встречалось. В нашем воображении нет ничего нового, все структуры восходят к первичным структурам, все мотивы – к первичным мотивам, все образы – к прообразам. Даже сложная структура цепочки молекулы ДНК, заключающей в себе свойства отдельного индивида, сначала возникла в воображении – иначе она не была бы открыта. Первичные структуры, мотивы и образы являются общими для всех. Разумеется, «Зимняя война в Тибете» напоминает Кафку, его мир тоже устроен как лабиринт. Но только ли *его* мир? Имя Кафки, его темы и мотивы я узнал только в свой цюрихский год, но это было время Второй мировой войны, и книги Кафки были недоступны, так что прочитать его я смог лишь после войны. Мир иудея полон лабиринтов, и это не только в гетто, но и в иудейском мышлении, которое является в то же время мышлением «мировым», так как исходит из идеи лабиринта. Но что было значимым для Кафки в «земном» аспекте этой идеи, вне духа, религии, мышления, литературы? В каких подвалах и коридорах он блуждал? В каких местах или пространствах ему было страшно? Чего он боялся? Чердаки? Играли они какую-то роль? А Тесей, Минотавр, Лабиринт? Что он читал в девять лет? В десять, двенадцать? «Путешествие к центру Земли»? «Ардистан и Джиннистан»? А позднее, был ли он, как я, заморожен притчей Платона о пещере? Писателей следовало бы объединять по тому, каковы их первичные структуры, первичные мотивы и первообразы, а не хронологически. Я не оспариваю влияния литературы на литературу. Безусловно, она повлияла и на меня. Но еще сильнее на нас воздействуют впечатления, которые становятся литературой благодаря «внелитературным» впечатлениям. Междурядья в хлебных полях и узкие проходы в крестьянских овинах превратились в лабиринты благодаря мифу о Минотавре, услышанному мною от отца. Выходит, образ лабиринта был мне уже знаком, когда я жил в деревне. Я сберег его, принес с собой в город, и город не только предъявил мне реальный лабиринт – в городе образ лабиринта стал для меня более ярким и актуальным, под влиянием литературы и философии, а оно было неизбежным, и в конце концов я использовал лабиринт, чтобы описать процессы, которые хотя и происходили за границами нашей страны, но отражали также – чего я, впрочем, тогда еще не сознавал – мою собственную ситуацию и общее положение дел в пределах швейцарских границ. Между тем деревня и город, окруженная страна, война, подступившая к ее границам, мое половое созревание, мое знакомство с греческой мифологией, книги моего детства, юности и прочитанные позднее – все это еще не объясняет, почему именно лабиринт я сделал своим первым сюжетом и почему впоследствии не раз обращался к «лабиринтным» сюжетам, ведь вполне возможны были и другие. Эти вопросы остаются открытыми. Колею, по которой потом движешься, прокладывают, помимо ближайшего окружения в детстве и первых прочитанных книг, еще и личные отношения. Можно выяснить, где лабиринт встретился мне до литературы и позднее в литературе, но не так-то просто объяснить, почему я обратился именно к лабиринту, чтобы в этом образе воссоздать обнаруженный мною мир.

Лабиринт – символ, и, как всякий символ, он многозначен. Где-то там, в глубине Лабиринта таится Минотавр, чудовище с головой быка и телом человека, рожденное на свет Пасифаей, сестрой Эгея и Цирцеи. Пасифая – волшебница, как и Цирцея, и так же, как ее брат и сестра, она дитя бога Солнца Гелиоса и Персеиды, богини высшего ранга, дочери Нерей и Фетиды. Нерей, или Океан, был сыном Урана, – дойдем уж до самых корней генеалогического древа этой высшей аристократии, – как и Хронос, оскотивший своего отца и сожравший собственных детушек; впрочем, он изрыгнул все проглоченное, а сам был низложен своим третьим сыном Зевсом. Не забудем: мы тут вращаемся в высших кругах – инцест, перверсия, отцеубийство, братоубийство... Судебные инстанции существуют лишь для смертных, но не для божественной аристократии, к которой, между прочим, следует отнести и Миноса, отца Минотавра. Минос, конечно, не стопроцентный аристократ, как его супруга, но все-таки на три четверти бог: его отец – Зевс, а мать – Европа, полубогиня. Такова генеалогия по материнской линии. Отец же Минотавра не мог похвалиться благородным происхождением – не полубог и не на три четверти бог, какое там, даже не человек, а посвященный Посейдону жертвенный бык, явившийся из вод морских; с точки зрения зоологии, безусловно представитель жвачных, будем предельно точны – это бык первородный, *bos primigenius*, которого Минос присвоил и отправил пастись в свое стадо. Зачатие было, мягко говоря, непростым. Жертвенный бык не очень-то хотел, но Пасифая, видать, потеряла последний стыд, а Минос не пикнув стал потакать ее прихоти; хитроумный Дедал смастерил чучело телки, в которое посадили дочь бога солнца и Персеи. Первородный бык попался на удочку – телка она и есть телка – и покрыл Дедалово сооружение, которое, надо полагать, является одним из древнейших известных нам шедевров натурализма, о каких у нас есть сведения. Вскоре бык стал опасен, возможно, все-таки заметил подвох или, скорее, инстинктивно почувствовал, что гордости его нанесено оскорбление, – откуда было знать скоту, что его осчастливила богиня? На этот счет нам остается лишь строить предположения. Бык опустошил Крит, затем Пелопоннес, куда его выгнал Геракл, и наконец Африку. Свалил его лишь Тесей, а так как герой через некоторое время расправился и с Минотавром, то, выходит, он убил и отца, и сына. Деталь эту привожу сугубой точности ради. Что касается рождения Минотавра, оно, вероятно, проходило трудно, по анатомическим причинам: великовата была голова у малютки. Минос не пожелал взглянуть на своего пасынка, и это понятно. Понятно и почему он не расстался с Пасифаей – во-первых, она же настоящая богиня, а он только на три четверти бог, – поэтому, наверное, он скрепя сердце дал согласие, да еще и профинансировал столь хитроумную случку (Дедал недешево ценил свою работу), а во-вторых, на то были некоторые психологические причины. Ведь к матери Миноса, Европе, Зевс тоже явился в обличье быка, и вполне вероятно, что, охваченный любовным пылом, верховный бог не только с виду стал скотом, но и соответственно преобразовал свой хромосомный набор, и, следовательно, Минос тоже уродился минотавром, хотя, может быть, шиворот-навыворот: с головой человека и телом быка. Не исключено, конечно, что Минос и был настоящим, только тайным, отцом Минотавра (это не противоречило бы законам Менделя); коли так, то либо всю эту историю с натуралистической коровой работы Дедала он сочинил, либо усилия священного первородного быка остались напрасными. Последняя версия кажется более вероятной (если мы принимаем гипотезу об отцовстве Миноса): согласно «Энциклопедии греческой и римской мифологии» Ранке Гравеса и Хунгера, Пасифая никогда публично не отрицала свою страсть к первородному быку. Так или иначе, наилучшим решением для Миноса было забыть об эротическом фортеле супруги, тем более что он, похоже, остался эпизодом: Пасифая родила еще шестерых детей, зачатых, судя по всему, от законного супруга. И пришлось Дедалу, этому Леонардо древней мифологии, построить Лабиринт, утаить ведь ничего не удалось, да и первородный бык все буянил на острове, вытапывал поля – как воспитывать такого сына? Гениальный изобретатель сконструировал

необычайное, удивительное сооружение, после чего они с Икаром упорхнули, взяв курс на Сицилию.

О Лабиринте известно не много, однако мы получим о нем некоторое представление, если сумеем реконструировать ход размышлений Дедала, поставив перед собой ту же задачу, что была у него; метод, в сущности, негодный, поскольку нам далеко до изобретательности Дедала, но делать нечего. Итак, надлежало, сохранив Минотавру жизнь, держать его в неволе. То, что Дедала осенила идея лабиринта вместо обычной темницы, было обусловлено, без сомнения, особенностями Минотавра. Он ведь не человек с головой быка, а бык с телом человека. Важное различие! Это значит, он не был интеллектуалом, а совсем наоборот. Зато он отличался невиданной физической силой и буйным нравом, никакие тюремные двери его натиска не выдержали бы. Дедал должен был учесть и другие особенности узника. Скорей всего, Минотавр вегетарианец – голова-то у него бычья, то есть не с клыками, как у хищников, а с обычными зубами жвачной скотины; тело же как у приматов, а приматы вегетарианцы. Следовательно, Лабиринт был более обширным, чем мы привыкли представлять, – просторный парк с группами деревьев и прудом или целый комплекс парков, своего рода внутренних дворов, где Минотавр мог пастись, ходить на водопой, лазить по деревьям, – тело примата должно было получать необходимый и достаточный моцион, в конце концов, все мы в древности лазили по деревьям. А вот ограждение парка или нескольких парков, то есть стены здания или нескольких зданий, многих зданий, замысловато соединившихся друг с другом (высокие гладкие стены с оконцами, расположенными на большой высоте, чтобы Минотавр к ним не вскарабкался), – вот это ограждение, наверное, и было тем Лабиринтом, что сохранился в памяти людей, – грандиозное, внушающее ужас, невообразимое сооружение «с извилистыми ходами и поворотами, обманчивыми для глаз и ног путника. Бесчисленные проходы извивались, как прихотливое русло реки Меандр, порой медлящей в нерешительности, порой бегущей вперед, порой вдруг поворачивающей назад, навстречу своим же волнам», – так, довольно поэтично, описывает Лабиринт Густав Шваб.²⁵ Такая тюрьма устоит даже против непомерной силы полубога, будь он и поумнее Минотавра.

Однако мирному образу Минотавра – травоядного, добродушного, лазающего по деревьям, хотя и наделенного буйной силой, – противоречит известный рассказ о том, что каждые девять лет Минос загонял в Лабиринт семерых юношей и семерых девушек: «Минотавру на прокорм», четко сказано Хунгером в «Энциклопедии». Выходит, Минотавр никакой не вегетарианец, а каннибал, если, конечно, можно назвать каннибалом быка с человеческим телом, который питается людьми. Противоречивы также сведения о Миносе. В мифологии он предстает как жестокий и коварный царь, однако, согласно Платону, после смерти Минос и его брат Радаманф в Аиде судят умерших, и, следовательно, мы можем предполагать, что Минос был человеком справедливым: он ведь понимал, что попал в прескверную историю, когда не принес в жертву, а присвоил священного быка, и теперь не мог допустить даже малейшей несправедливости по отношению к Минотавру, и дело не только в том, что Минотавр был полубогом или кем-то вроде полубога. Социологи пытаются все объяснить одной-единственной причиной, но объяснение сомнительно, потому что не только социальным статусом обуславливается образ мыслей того, кто на три четверти бог, да и к человеку это относится. Разумеется, Лабиринт был построен для обеспечения безопасности, политическая роль правителя Крита обязывала Миноса принять эту меру, раз уж он решил сохранить Минотавру жизнь. А может быть, Минос из обостренного чувства справедливости и от невероятно нежной любви к Пасифае – или все-таки потому, что Минотавр был его сын? – любил его больше всех своих официально признанных детей? Есть довод в пользу этого

²⁵ Шваб Густав (1792–1850) – немецкий поэт, писатель, филолог и теолог. Автор наиболее полного собрания древнейшей мифологии «Сказания классической древности».

предположения: спустя некоторое время дочь Миноса Ариадна (все ж таки богиня на семь восьмых) тайком научила Тесея (бога на четвертинку; он любил выдавать себя за полубога или даже на три четверти бога, а фактически был смертным, то есть, по нашим современным меркам, рядовым гражданином), как убить Минотавра и выбраться из Лабиринта; таким образом, Ариадна виновна в смерти своего единоутробного или просто родного брата, и это убийство доказывает: она ревновала к Минотавру. Да, конечно, справедливость и любовь Миноса по отношению к Минотавру были ужасны. Они и не могли быть другими. Семеро юношей и семь девушек – единственное, чем Минос мог доказать пасынку свою любовь и справедливость, ведь Минотавр, со своей головой быка, не мог ни говорить, ни мыслить, у него были только инстинкты, потому он и пасся мирно на травке в парке (или в парках), лазил по деревьям и пил водицу из пруда (или из прудов) в одиночестве, не было у него ни приятелей, ни подружек, ведь другой-то особи его вида в мире не существовало. Наверное, часто он бросался на каменные стены Лабиринта в необъяснимой, внезапно накатившей ярости, пытаясь сокрушить гигантский архитектурный ансамбль, откуда не было выхода, бросался опять и опять, гонимый своей полубожественной и бычьей природой, которую сам он не осознавал. Мало того, наверное, он сам зашел в Лабиринт и много дней топтался там, сопя и фыркая, словно буйвол в необозримых джунглях, пока не очутился в одном из внутренних дворов, то есть парков, а затем, выбившись из сил, тихо пасся или, развалившись на травке, глазел на красного бога солнца, то есть на своего деда, который уходил с небосклона где-то за стенами Лабиринта, совершенно равнодушный к глухому отчаянию внука, не ведавшего, что это его дедушка исчезает там вдалеке. Ну а потом к нему являлись семеро юношей и семь девушек; держась за руки, чтобы никто не потерялся, усталые после многодневных блужданий по запутанным переходам, закоулкам, ответвлениям и ответвлениям ответвлений, они, ослепленные блеском солнца, ошарашенно шурились, глядя на Минотавра, и однажды ему вдруг открылось то святотатство, которому он был обязан своим появлением на свет, открылось не как история – откуда ему было знать о священном быке и искусственной корове Дедала или об эротических причудах Зевса? Этого он вообще не смог бы понять, будучи зверем, пусть и с человеческим телом. Но инстинктивно он чувствовал, что он – единственное в своем роде существо: ни зверь, ни человек, ни бог, и что он, будучи этим единственным, должен расплачиваться за злодеяние, которого не совершал. Это инстинктивное, животное ощущение повергало его в неистовство, можно сказать, божественное. Юношей он, конечно, сбивал с ног, пронзал рогами, девушек насиловал, а под конец всех – и юношей, и девушек – руками рвал на части, слизывал их кровь, давился их мясом, гонимый темной жаждой стать таким же, как те, кого он только что искромсал в клочья. Минотавр бессознательно хотел стать человеком, поэтому он снова и снова убивал и пожирал семерых юношей и семь девушек, а любовь и справедливое отношение Миноса к пасынку заключались в том, что каждые девять лет он будил в Минотавре это бессознательное желание и смутное сознание собственной уникальности. Ничего большего Минос не мог для него сделать: таковы справедливость и любовь того, кто судит мертвых. Признаю: это лишь предположение, так как есть одно весьма странное обстоятельство. Да, каждые девять лет Минос отправлял в Лабиринт семь юношей и семь девушек, тут нет сомнений. Сомнение возникает относительно того, какой смертью они умирали. Проще простого считать Минотавра их убийцей, и если я не уверен в этом до конца, то по одной причине: как невозможно выбраться из Лабиринта, так невозможно и проникнуть в его центр: Минотавр не мог убежать и точно так же он никем, в том числе своими жертвами, не мог быть обнаружен. Жертвы, очутившись в Лабиринте, слышали рев человека-быка, то отдаленный, то близкий, но с самим Минотавром они никогда не сталкивались. Долгие недели блужданий и непреходящий ужас – что они все-таки столкнутся с чудовищем – изнуляли их или доводили до безумия. Может быть, эти семь юношей и семь дев сами убивали и рвали на куски кого-то из своих, одного, потом

другого и так далее. Вполне возможно, кто-то из группы, шедший впереди остальных, ненадолго попадал в боковой коридор, в испуге бросался назад, к своим, а те, в невообразимом ужасе, принимали его за Минотавра и с отвагой смертельного отчаяния бросались в бой, он отбивался, ну и так далее, и все это повторялось, точно повороты Лабиринта; прежде всего, повторялись приступы панического страха, который раз от раза не уменьшался, не слабел, а возрастал и все больше леденил кровь. Да это дело десятое – так все было или иначе, важно, что Минос, из любви к Минотавру построив Лабиринт для абсолютно уникального существа, каким его пасынок был по причине своей уродливости, сотворил особого рода вселенную, абсолютно особый мир, уродливый, как сам Минотавр, чтобы Минотавр в этом особом мире мог блаженствовать, имея, подобно богам, все что хочет. Но в силу своей экзистенциальной ситуации, своей абсолютной отдельности вкушать этого счастья он не мог, это счастье, Минотавру недоступное, оказалось лишь мягкой стороной строгой справедливости Миноса. Продолжим мысль: возникает вопрос – кого-то он, вероятно, ужаснет, – возможно ли вообще ощущать безмятежное счастье, которое не способен ощущать Минотавр; не лишены ли этого ощущения даже боги? Вопрос, от которого недалеко до подозрения: не затем ли боги подвергали смертных неопишемым страданиям, чтобы, наслаждаясь этими их страданиями, ощутить божественное блаженство, хотя бы и на мгновения? Выразимся поделикатней: если Минос, с его справедливостью, построил Лабиринт таким, чтобы Минотавра в нем было не отыскать, то тем самым не создал ли он бога, который мирно щипал травку в своем собственном мироздании, был там единственным богом и не страдал от того, что он бог, хотя, конечно, Минотавр был лишь полубогом или на семь восьмых богом? Что же получается? Ариадна, на семь восьмых богиня, научила своего сводного или родного брата Тесея убить Минотавра, побуждаемая не ревностью, а завистью? Признаюсь, вопрос о возможности счастья для Минотавра возник у меня лишь сегодня, хотя лабиринтами и минотаврами я занимался не один десяток лет, но, правда, в графике и живописи. А тогда, на берегу заледенелой Роны, вяло катившей свои воды среди заледенелых берегов, я видел только несчастье Минотавра.

Впрочем, и при таком раскладе Лабиринт остается чем-то многозначным. Начнем с того, что это дважды тюрьма: во-первых, тюрьма для входящих и обреченных погибнуть, независимо от того, обнаружат они Минотавра или нет, и во-вторых, тюрьма для Минотавра, который никогда не найдет выхода и будет блуждать по бесконечным переходам и закоулкам, пока не набредет на своего убийцу. Убийца – не бог или полубог, а человек, Тесей, причем я исхожу из того, что Тесей нашел Минотавра, – кстати, по поводу этой легенды у меня тоже закрадывается сомнение, и не потому, что, согласно утверждению Ранке Гравеса, жители Крита никогда не признавали существования Минотавра, тут дело хуже: сражение Тесея с Минотавром проходило без единого свидетеля, значит и самого сражения, возможно, не было. Наконец, Лабиринт – это наказание (не важно, справедливым или несправедливым судьей был Минос). Есть наказание – значит есть суд, это наказание назначивший, и вина, служащая основанием для наказания. Но если Минотавр, поскольку он Минотавр, не понимает, что такое вина, то понятие вины к нему неприменимо. То есть Лабиринт – это наказание Минотавра за вину, которая по отношению к Минотавру является внешней, возникла до его рождения и представляет собой причину его, Минотавра, появления на свет. Вина Минотавра в том, что он – Минотавр, урод, без вины виноватый. Поэтому Лабиринт не просто тюрьма, а кое-что похуже: он непостижим, Лабиринт удерживает нас в плену в силу того, что он непостижим, и поэтому – что крайне парадоксально – с существованием или несуществованием Минотавра он вообще не связан: каждый входящий в Лабиринт становится Минотавром. Этой тюрьме не нужны затворы и двери – бесчисленные входы Лабиринта открыты, каждый может войти и заблудиться. Но я делал первые наброски Лабиринта, когда война уже катилась в пропасть, и, бессознательно идентифицируя себя с его обитате-

лем, Минотавром, я тем самым выражал первобытный протест, я протестовал против своего рождения; мир, в котором я очутился, родившись на свет, был моим Лабиринтом, формой и образом загадочного, мифического мира, для меня непостижимого, мира, где невинные объявляются виновными и где право неизвестно. Более того, я идентифицировал себя с теми, кто был сослан в Лабиринт и растерзан Минотавром или сами растерзали друг друга, так как твердо верили в существование Минотавра. Наконец, я идентифицировал себя с Дедалом, создавшим Лабиринт, так как всякая попытка подчинить себе мир, в котором ты живешь, воплотить его в образах и формах, есть попытка создать другой мир, причем создать так, чтобы в нем был пойман, как Минотавр в Лабиринте, тот мир, который стремишься изобразить. Ясно, однако, что шансов у этой попытки не больше, чем у бессильных стараний Минотавра понять Лабиринт, – возможно ведь, что он разок попытался это сделать, полживая где-нибудь на лужайке, тупо мыча, глаза на солнце; что из этого вышло – нам неизвестно. Наверное, результатом было дикое заблуждение и подлинный замысел и план Дедала – замысел и план Лабиринта – Минотавру не открылись; наверное, он представлял себе Лабиринт в виде гигантской, вечно наполненной кормушки.

Ни одна притча не прочитывается лишь в одном определенном смысле – на то она и притча, а не аллегория, замаскированная сентенция. Однако невозможно избавиться от некоторого подозрения, когда видишь, как безоглядно используются лабиринтные структуры и мотивы, особенно в такое время, как наше, то есть время, требующее от нас ангажированности, протеста, подписей под воззваниями, определенной политической позиции. Попытавшись тогда поместить свой мир в столь многозначном образе, каким является Лабиринт, я дал многозначный ответ моей реальности. Напрашивается вопрос: не было ли это бегством, не спрятался ли я в этой многозначности от времени, которое строго требовало однозначных ответов, прежде всего в политике? Но возникает и другой вопрос: мог ли я в то время ответить иначе? И еще: давал ли я когда-нибудь однозначные ответы? Эти вопросы отодвигают на задний план вопрос более очевидный: почему я не даю Лабиринту психоаналитического истолкования? Почему не усматриваю тут желания снова забиться в материнскую утробу или печали оттого, что однажды из нее вылез? Да потому, что я не сомневаюсь, этот подход, это погружение в бессознательное, эта попытка добраться до своего собственного существа, своего «центра», столь же безнадежна, как попытка профессора Лиденброка, спустившегося в кратер Снайфельдса, достичь центра Земли. При психоаналитическом истолковании мотивы разваливаются, превращаясь в абстракции и банальности, все менее содержательные, в конце концов и вовсе бессмысленные. Невозможно отрицать темные механизмы инстинктов и влечений – я как раз считаю, они разумеются сами собой, без них мы бескрылы. Но отнюдь не разумеются сами собой те зачастую авантюрные, инициированные этими инстинктами путешествия, в которые способен пуститься человек. Вот в этом моменте, который не есть нечто само собой разумеющееся, я чутьем улавливаю некий выбор, некое решение; сам я принял такое решение и постоянно принимаю – решение писать. Что бы ни означал мой выбор, мнимый или реальный, вынужденный или свободный, это результат изначальной драмы, конфликта «я» с окружающим миром, столкновения, необъяснимого только с позиций «я» или только с позиций мира, столкновения, которое, являясь процессом и изначальной драмой, всегда уникально. Каждый человек переживает свою драму, один комедию, другой трагедию, а скорей, и то и другое: человек настолько сложен, что может существовать лишь как индивидуальность, так сказать, как Минотавр – чтобы вернуться к теме Лабиринта, – отсюда и моя концепция «реальной мировой истории», опять-таки лабиринтообразной. Думаю, всякое объяснение, в том числе психоаналитическое, разрушает смысл этой притчи, потому что смысл един с ней и только она отражает цельный, «не разложенный» смысл; думаю, поэтому любые объяснения всегда однозначны, они словно разложенный свет, который, впрочем, в качестве объяснения может стать опять-

таки лишь символом, вызывающим новые объяснения; смысл символа – не *одно* объяснение, а все возможные объяснения в их совокупности, причем количество возможных объяснений возрастает, отчего символ делается все более многозначным. Притча о Минотавре дает нам сегодня гораздо больше возможностей для объяснения, в том числе психоаналитического, чем во времена Еврипида, отобразившего в «Критянах» любовь Пасифаи к первородному быку. Но несмотря на всевозможные объяснения, мы можем воспринимать Минотавра как казус, как историю. В противном случае мы будем лишь тешиться своей образованностью, вместо того чтобы дать символу возможность воздействовать на нас непосредственно, будем считать какое-то объяснение первичным, тогда как оно вторично. Наконец: свои антипатии я поддерживаю не меньше, чем дружбы. Не стоит отвыкать от слишком многого, поэтому к психоаналитическому методу я вообще стараюсь не привыкать – мне достаточно и аналитического. Столяр не обязан оправдываться, почему он не стал мясником или пекарем. Так же, как с профессиями, обстоит дело с методами, которые применяет мысль. Я не психоаналитик и не социолог; логические методы, с помощью которых я решаю задачу, поставленную моим любопытством, совсем иного рода. Еще я верю в нюансы мышления, в индивидуальный стиль мышления, который формирует методы мышления. У меня это методы писателя, верящего, что благодаря вполне определенной писательской хитрости ему удастся проанализировать, а значит, и отобразить, описать окружающий мир и себя в нем, – впрочем, прибегая к этой хитрости, я сумел перехитрить лишь самого себя.

Одно дело замысел, совсем другое – реализация. Свой «мировой лабиринт» я задумал, когда с берега заледенелой Роны глядел на ничейную землю по ту сторону границы. С тех пор я много раз пытался воплотить Лабиринт, для чего выдумал рассказчика, некое «я». Все эти попытки закончились неудачей. В 1972 году я набросал первый план, он занял три страницы, после чего я написал «Драматургию лабиринта». Теперь же, в 1978-м, опять вот уже которую неделю занимаясь «Зимней войной», потому как меня вдруг одолело честолубивое желание все-таки придать ей оформленный вид, я понял, кто такой этот «я», – понял внешне, разом, когда в разгар работы над «Зимней войной», которая все разрасталась, стал переделывать «Драматургию», так как решил поместить ее перед повестью, – сначала-то я хотел пустить ее после «Зимней войны». Это выдуманное «я», которое я, соблазненный своей «Драматургией», так долго считал Минотавром, – на самом деле Тесей. Так же как мой «наемник», он по своей воле отправляется в Лабиринт, чтобы убить Минотавра. Более того, и тот, кто берется описать Лабиринт, тоже должен войти в него добровольно, должен стать Тесеем. Для моего замысла, тогда, на берегу реки, и в «Драматургии» двадцать восемь лет спустя, этого не требовалось, что доказывает моя горделивая идентификация с Дедалом, возможная потому, что и «Драматургия» осталась лишь замыслом. Пока не идешь дальше замысла, легко идентифицировать себя с Минотавром, его жертвами, наконец, с Дедалом или любым другим персонажем. На стадии замысла всегда все ясно. Тот, кто рисует план Лабиринта, все знает наперед, но тот, кто отправляется в Лабиринт, вот как я теперь, спустя столь много лет после первых робких попыток приблизиться ко входу, – тот ничего не знает, хотя бы и вооружился он превосходной драматургией – от нее толку так же мало, как и от других схем и планов. Он способен лишь вообразить, что может случиться: внезапное появление Минотавра, неожиданная встреча лицом к лицу со страшным врагом. Следуя за нитью Ариадны – своей мыслью, он ищет Минотавра, блуждая по запутанным переходам, начинает задавать вопросы: сначала – кто такой Минотавр, затем – существует ли он вообще. Наконец – если Минотавра он не нашел – принимается размышлять: почему существует Лабиринт, если Минотавра нет? Может быть, потому что Тесей сам и есть Минотавр? И каждая попытка покорить этот мир своей мыслью – пусть и прибегнув лишь к притче, символу, сравнению, – это сражение, которое ведешь с самим собой: мой враг – это я, твой враг – это ты.

Зимняя война в Тибете

Я наемник и этим горжусь. Я сражаюсь с врагом, сражаюсь от имени Администрации, но не только, – я орган, пусть скромный, исполняющий задачу Администрации в части неизбежной необходимости бороться против врагов, ибо задача Администрации состоит как в оказании помощи гражданам, так и в защите граждан. Я боец – участник Зимней войны в Тибете. Зимней – потому что на склонах Джомолунгмы, Чо-Ойю, Макалу и Манаслу вечная зима. Мы бьемся с врагом на невообразимой высоте, на ледниках и скалистых кручах, на осыпях, в трещинах и расселинах, то в темном лабиринте окопов, траншей, бункеров, то под нещадно ярким солнцем, от которого слепнем. Еще одна трудность этой войны – то, что у своих и у врагов одинаковая белая форма. Эта война – всегда ближний бой, свирепый и неуправляемый. Стужа на пиках и скалистых склонах восьмитысячников лютая, у нас отморожены уши и носы. В наемной армии на стороне Администрации сражаются бойцы всех рас и народов земли: бок о бок бьются черный гигант из Конго и малаец, белокурый скандинав и австралийский абориген, воюют не только отслужившие солдаты, но и члены бывших нелегальных организаций, террористы всех идеологических мастей, киллеры, мафиози и тюремная братва помельче. То же и в рядах врагов. Пока нас не бросят в бой, укрываемся в ледяных норах или в туннелях, пробитых взрывниками в скалах; туннели сообщаются и образуют в недрах громадных массивов разветвленную систему, огромную и непостижимо запутанную, так что и под землей часто происходят неожиданные столкновения и взаимное уничтожение противников. Полной безопасности нет нигде. Даже в борделе – он называется «Пять сокровищниц великого снега» и помещается в недрах Канченджанги, девки там собраны с панелей всей страны. В это примитивное заведение ходят и вражеские бойцы: офицеры бордельной службы воюющих сторон договорились на сей счет. Никаких претензий к Администрации: совокупление трудно контролировать. Однако уже не один мой соратник получил нож в спину, как раз когда залез на девку, в том числе и мой Командир, который был моим Командиром на последней мировой войне и уже тогда предпочитал офицерским борделям дешевые бардаки для рядового состава. Отчетливо помню, как я встретился с ним снова.

Двадцать, а может, и тридцать лет назад – счет времени никто уже не ведет, – получив в Администрации удостоверение личности, я прибыл в один непальский городишко. Был принят и в наилучшем виде обслужен бабой в офицерском звании. Я был уже при последнем издыхании, все равно как трясущийся старикашка, когда она открыла заржавленную железную дверь и снова повалилась на матрас. Дело было в голой комнате: у стены матрас, на полу всюду валяется тряпье – женские офицерские шмотки и моя гражданская одежонка. Дверь настежь, понабежало девчонок. Я и так-то был на взводе, а тут еще вопли и визг этой оравы малолеток, я разозлился, кое-как перелез через голую бабу-насильницу и шатаясь вышел в открытую дверь, да не заметил, что дальше там, сразу за порогом, крутая лестница вниз. Покатился по ступенькам, разок перекувырнулся, грохнулся на бетонный пол, – лежал весь в кровище, сознания не потерял, обрадовался, что приземлился. Потом осторожно осмотрелся по сторонам. Помещение прямоугольное. На стене развешаны белое обмундирование, автоматы и обтянутые белой тряпкой каски. Письменный стол. За ним сидел наемник, возраста не пойми какого, с лицом точно вылепленным из глины, рот беззубый. Он был в белой форме и белой каске, такой же, как те, что висели на стене. На столе перед ним лежал автомат, рядом пачка порножурналов, наемник их перелистывал. Наконец он изволил заметить меня.

– Это, значит, новенький, – сказал он. – Измочален в наилучшем виде.

Он выдвинул ящик стола, вытащил какой-то формуляр, задвинул ящик – медленно, обстоятельно, достал складной нож и долго возился, очинивая огрызок карандаша, порезал

палец, выругался, но наконец приступил к писанине, причем изрядно замазал формуляр кровью.

– Встань-ка, – сказал он.

Я встал. Было холодно. Только тут я сообразил, что стою в чем мать родила. Нос и ладони ободраны, ссадины на лбу кровоточат.

– Твой номер ФД 256323, – сказал он, даже не спросив мою фамилию. – В Бога веруешь?

– Нет.

– В бессмертие души веруешь?

– Нет.

– По уставу и не требуется. Просто, если кто верит, тому не так вольготно. А в существование врага веришь?

– Да.

– Правильно. Это по уставу, – сказал он. – Оденься, там обмундирование. Каску бери, автомат. Автоматы заряжены.

Я все выполнил.

Он положил формуляр в ящик, ящик запер на ключ – опять аккуратно и неторопливо, потом встал.

– Умеешь обращаться с таким стволом?

– Идиотский вопрос!

– Ладно, ладно. Не все тут такие матерые фронтовые волки, как ты, двадцать третий!

– Почему двадцать третий?

– Потому. Это последние цифры твоего номера. – Прихватив со стола автомат, он открыл низкую решетчатую дверцу в стене, деревянную и еле державшуюся. Я, прихрамывая, заковылял следом. Мы вошли в узкий сырой туннель, пробитый в скале. Тускло светили маленькие красные лампочки, провода болтались на стенах. Где-то шумел водопад. Где-то стреляли, потом донесся глухой раскат – взрыв. Наемник остановился.

– Высунется кто – стреляй, – сказал он. – Может, это враг. А не враг, так все равно не жалко.

Туннель шел вроде под уклон, но уверенности в этом не было: мы то карабкались – так круто он поднимался, то, привязав страховку, летели в пропасти не пойми какой глубины. Туннель разветвлялся, на каждом шагу открывались новые коридоры и галереи, мы спускались и поднимались в лифтах, которых тут была целая система, непостижимая и бесконечная, потом вдруг оказывались в каких-то невообразимо примитивных сооружениях, древних как мир, каждый миг готовых обрушиться. Получить представление о «географии» лабиринта, в котором мы, наемники, живем, хотя бы самую общую, приблизительную схему его устройства, попросту невозможно. Я до крови ободрал себе ладони. Несколько часов мы проспали в какой-то пещере, спрятались там, точно звери в норе. Потом лабиринт вроде стал менее запутанным. Мы продвигались по прямому как стрела туннелю, но в каком направлении – было не определить. Иногда мы несколько километров брели по колена в ледяной воде. Слева и справа отходили другие галереи и туннели. Звонко капала вода, но временами капель стихала и в мертвой тишине гулко раздавались наши шаги. Наемник вдруг насторожился, передернул затвор, взял автомат на изготовку, еще несколько шагов – и там, где из нашего туннеля выходил другой, над моей макушкой просвистела пуля – ну да, я снова на Третьей мировой. Пригнувшись, мы перебежали к винтовой лестнице, деревянной, трухлявой, отсюда наемник открыл огонь; бессмысленная пальба, никого не было видно, но он не успокоился, пока не расстрелял весь магазин. Спустившись на незначительную глубину, мы очутились в пещере, где освещение было получше. В эту пещеру вело несколько винтовых лестниц, одни – сверху, как та, по которой мы спустились, другие – откуда-то снизу. Из

пещеры выходил широкий туннель, в конце которого была дверь лифта. Наемник нажал на кнопку. Мы прождали с четверть часа.

– Станем выходить, автомат бросишь на землю и поднимешь руки, – сказал наемник.

Дверь открылась, мы вошли в лифт, маленький, тесный и, что странно, обитый темно-красной, порядком потертой парчой. Уже не помню, вниз мы поехали или вверх. В лифте была вторая дверь. Я заметил ее лишь через четверть часа, когда она открылась за моей спиной.

Наемник швырнул перед собой автомат, я тоже. Я поднял руки и вышел, наемник тоже. И тут я замер на месте, оторопев, – в инвалидной коляске сидел наемник, безногий. Рук у него тоже не было – протезы. Вместо левого плеча стальная конструкция, на которой крепился автомат. Вместо правой руки целый набор щипцов, ножей, отверток, тисков и стальной резец. Нижняя часть лица закрыта пластиной из стали, со вставленным в нее резиновым шлангом. Это существо откатилось от лифта и, двинув своим протезом-автоматом, сделало нам знак подойти ближе. Мы опустили руки. В центре пещеры висел голый бородатый человек, подвешенный за руки на стене, к его ногам был привязан тяжелый камень. Висел неподвижно, изредка хрипел. У другой стены, вернее скалы, на примитивном топчане, посреди сваленного в кучу оружия, ящиков с патронами, бутылок с коньяком, сидел громадный старик, офицер, в мундире нараспашку, с голой грудью, заросшей седыми волосами и блестящей от пота. Мундир я сразу узнал – не забыл с войны. Офицер был тогда моим Командиром. Он глотнул из горлышка и сказал, с трудом ворочая языком:

– Ионатан – а не катился бы ты в угол!

Существо в коляске отъехало к стене пещеры и принялось что-то выцарапывать на камне.

– Ионатан – мыслитель, – сообщил Командир. Потом пригляделся ко мне повнимательней и будто прозрел: – Гансик! – Он сипло засмеялся. – Ты что, не узнаешь меня? Я это, я, твой старый Командир. – Он прямо-таки сиял. – Пробился я тогда в Брегенц. Подойди-ка.

– Генерал... – пробормотал я и подошел. Он прижал мою голову к своей мокрой от пота груди.

– Это же ты! – сипело над моей головой. – Ты самый и есть. Рассукин ты сынуля. – Схватив за волосы, он дергал туда-сюда мою голову. – А я и не поверил бы, скажи кто, мол, Администрация поубавила прыти моему Гансику. Бывших солдат не бывает. – Тут он так поддал мне коленом, что я отлетел к стене и, не устояв на ногах, толкнул висящего – тот громко застонал и закачался, словно язык огромного колокола. Я кое-как поднялся. Командир расхохотался.

– Эй, ты, паршивец, дай сигару, – крикнул он наемнику, который доставил меня сюда. – Моя пайка вся вышла.

Наемник молча протянул ему сигару и вытащил из кармана блокнот.

– Теперь, Командир, вы должны мне семь штук, – сказал он, делая запись в блокноте.

– Хорошо, хорошо, – проворчал старик, щелкнув золотой зажигалкой, как-то странно она смотрелась при его замызганном мундире да в нищенской обстановке пещеры. Я сообразил, что уже видел у старика эту зажигалку – в курортном отеле, в Нижнем Энгадине, и удовлетворенно подумал: ну, значит, еще кое-что осталось от старых добрых времен!

Командир приказал наемнику:

– Убирайся.

Тот козырнул, повернулся кругом и наклонился поднять свой автомат. В ту же секунду Командир прошил его очередь. И с довольной ухмылкой положил автомат рядом с собой на нары. К убитому подкатил Ионатан. Орудую своим правым протезом, он обыскал труп.

– Сигар нет? – поинтересовался Командир. Ионатан отрицательно мотнул головой.

– И порножурналчика нет?

Ионатан опять помотал головой. Потом зацепил труп каким-то крючком на своей коляске и поволок прочь.

– Все, теперь никому не отыскать дорогу ко мне, – сказал Командир. – Наружные посты ненадежны. Часто перебегают к врагу. Этот пес тоже перебежал. А раньше всегда приносил мне порнушку. – Командир уставился на подвешенного голого бородача. – Гансик, – он выпустил большой клуб дыма, – Гансик, тебя как будто удивляет, что у нас тут висит вот такое вот. Надеюсь, ты еще не забыл, что живодеры в армии не в почете? И уж наверняка ты не забыл и что твой старый командир не живодер. Солдаты были мне что дети родные, и наемники были мне все равно как детки.

– Так точно, генерал.

Он кивнул, пошатываясь встал и подошел к Ионатану, который тем временем прикатил в пещеру и опять что-то выцарапывал на камне своим резцом. Командир отвернулся к стене и пустил струю, тем временем продолжая говорить со мной:

– Парень болтается на веревке в чем мать родила – это ведь довод против моей сентиментальности, а, Гансик? Ты нормальный парень, ты понимаешь, что мне этого парня жаль. Потому как я сентиментален. Сентиментальность черта человеческая. Животные не сентиментальны. Стой нормально и не шатайся, когда я с тобой говорю!

– Есть, генерал!

Я вытянулся «смирно».

Старик повернулся, застегнул штаны и прищурился, глядя на меня:

– Ну а что ты, Гансик, скажешь об этом сучьем потрохе? Думаешь, почему он тут висит?

– Это пленный, генерал, – ответил я, стоя руки по швам, – враг.

Командир затопал ногами.

– Из моей роты он. Наемник. Ты ведь тоже хочешь стать наемником, полковник? – Он замолчал и окинул меня внимательным, почти враждебным взглядом.

Не смея пошевелиться, я ответил:

– Да, я твердо решил.

Командир кивнул:

– Вижу, ты все тот же молодчага и прохвост, ты на все сгодишься, как тогда в курортном отеле. Ну вот смотри, малец, смотри внимательно, что я сейчас сделаю. – Медленно подойдя к повешенному наемнику, он ткнул его горячей сигарой в живот. – Валяй, можешь оправиться.

Наемник застонал.

– Нет, уже не может, бедняжка, – сказал Командир. – Горе-то какое. – Он толкнул наемника, тот закачался. – Гансик!

– Да, генерал?

– Этот барбос болтается тут уже двенадцать часов. – Он еще раз толкнул тело. – Этот барбос – молодчага, отличный наемник, он мне все равно что сыночек родной.

Командир подошел ко мне. Громадный старик, на целую голову выше меня.

– А знаешь ли ты, Гансик, кто приказал устроить эту живодерню? – Его тон стал угрожающим.

– Никак нет, генерал. – Я щелкнул каблуками.

Командир помолчал, потом печально вздохнул:

– Я, Гансик. А знаешь почему? Потому что сыночек родной вообразил, будто бы никаких врагов у нас нет. Возьми-ка ты, Гансик, автомат. Так будет лучше для моего сыночка.

Я выпустил весь магазин. На стену пещеры налипли кровавые ошметки.

– Гансик, – сказал Командир нежно, – пойдем к лифту. Душно мне тут, под землей. Пора на фронт.

Мы поехали на лифте, потом еще несколько раз пересаживались в другие лифты. Первый был по-старомодному роскошный, мы развалились на канапе, прямо напротив нас висела картина – голая девица, задом кверху, развалилась на канапе.

– Этот Буше²⁶ у меня из Старой пинакотекы,²⁷ – пояснил Командир. – От Мюнхена-то груди развалин осталась. Рай для мародеров.

Другие лифты были один другого паршивей – стены снизу доверху оклеены порнографическими картинками, исписаны похабщиной. А потом лифтов уже не было. В масках, с тяжеленными кислородными баллонами за спиной мы лезли все выше по отвесным стенам в каких-то вертикальных шахтах, но Командир не уставал, наоборот, у старого гиганта прибавлялось резвости и задора, повсюду у него были тайники, где хранились запасы коньяка; ловко преодолевая особенно трудные участки, старик радостно вопил, весело горланил тирольские йодли. Сгорбившись в три погибели, мы брели по низким галереям, куда-то поднимались в горняцких клетях, наконец, уже в нескольких метрах от поверхности земли на склоне Госаинтана мы заняли позицию в штабном бункере Командира.

Я спал долго и без сновидений. Расстреляв наемника, я сам стал наемником – впервые выполнил свой воинский долг на службе Администрации. Вопрос о враге не должен возникать у наемника по той простой причине, что этот вопрос для него – смерть. Как только вопрос возник, хотя бы и в бессознательном, – все, наемник не боец. Если же этот вопрос допечет наемника так, что он, набравшись храбрости, задаст его, тогда наемнику конец и спасения не будет; спасать всех должны Командир и другие наемники. Так что стрельбой своей я горжусь – я стрелял от имени всех. И больше вопрос о враге никогда не ставился. Зимняя война приучает наемников ставить такие вопросы, которые хотя и не имеют ответа, однако не бессмысленны. Наемнику безразлично, кто враг, но ему важно знать, за что он воюет и кто его командир. Эти вопросы имеют смысл, меж тем как в вопросе о враге есть тайный соблазн отрицать существование врага, то есть того, с кем мы воюем изо дня в день, врага, который существует потому, что мы его уничтожаем. Война в отсутствие врага – это бессмыслица, сущая бессмыслица. Поэтому наемник либо не ставит вопрос о враге, либо ставит себя самого под дуло автомата первого встречного стрелка. И только это он знает наверняка. Поступают донесения о фантастических успехах, уже близка окончательная победа над врагом, она, вообще-то, уже одержана... однако Зимняя война продолжается. Наемники не знают, за что сражаются, за что гибнут, для чего выживают после ампутаций в примитивных лазаретах; их, с кое-как прилаженными протезами, с крючьями и сверлами вместо пальцев, слепцов, с ободраным до мяса лицом, снова бросают в адское пекло фронта, а фронт здесь проходит везде. Наемники знают одно: они воюют с врагом. Они совершают бесчеловечные и бессмысленные геройства, не зная для чего, они давно позабыли, что пошли на войну добровольно, они задумываются, ищут, в чем смысл Зимней войны, и выстраивают фантастические теории, якобы объясняющие, зачем нужна эта бойня и почему от них, наемников, зависят судьбы человечества – ведь только эти вопросы для них еще имеют смысл. Надежда отыскать смысл придает им силу, а сила им нужна. Пока эта надежда жива, бойня может продолжаться, бойню можно выдержать. По этой же причине наемник сражается не только с врагами, но и с наемниками, воюющими на одной с ним стороне. А это значит, что у наемника есть понятие о враге и есть понятие о противнике: противник – это наемник, имеющий иное представление о смысле Зимней войны; противника наемник ненавидит, враг же ему безразличен. Противника он убивает с лютой жестокостью, тогда как врага просто уничтожает. Поэтому наемники объединяются в секты и перебегают к тем, кто, считая их сектой сектой противников, все же готов примириться скорее с ней, чем с такой сектой, с которой нет

²⁶ Буше Франсуа (1703–1770) – французский живописец, гравер, декоратор.

²⁷ Картинная галерея в Мюнхене, одна из самых известных галерей мира.

принципиальных разногласий, но возникли расхождения по какому-нибудь не слишком важному поводу или в мелких нюансах. Эти-то нюансы оказываются более важными, чем принципиальные вещи. Некоторые секты измышляют на редкость оригинальные теории о том, кто руководит военными действиями и в недрах каких горных массивов скрыт генеральный штаб врага – то ли Шан-цзе, то ли Лхо-цзе; насчет своего штаба они предполагают, что он находится в бункере под Дхаулагири или под Аннапурной. Есть секта, правда единственная, против которой ополчились все, даже враги: эти сектанты уверовали, что на Зимней войне существует только один штаб, а размещается он в недрах трехглавого Броуд-пика в Каракоруме. Еще говорят, была секта – ее искоренили, – выступившая с заявлением, что якобы на этой войне только один главнокомандующий, престарелый слепой генерал-фельдмаршал, он-то, затаившись в бункере под колоссальной горой Чогори, и ведет войну, можно сказать, сам с собой – потому как подкуплен обеими сторонами. Еще какие-то сектанты утверждают, что этот генерал-фельдмаршал выжил из ума. Секты образуют внутренние фронты и бьются друг с другом, фронты разваливаются, тут же возникают новые. Понятно, что дисциплина у наемников не на высоте, во время смертельных побоищ они слишком часто группируются по-новому, перестраиваются и истребляют не врагов, а тоже наемников, только из других сект. Их рвут в клочья гранаты, прилетающие от своих, автоматные очереди, выпущенные своими, их сжигают заживо огнеметы, они замерзают в ледниковых трещинах, мрут от удушья из-за нехватки кислорода, но из последних сил удерживаются на невообразимых высотах, лишь бы не возвращаться к своим, потому что у своих наверняка уже образовались новые секты и группировки, а тем временем в кровавую мясорубку поступают все новые порции человечины, пополнения из всех стран, от всех рас и народов. Впрочем, в таком же положении находится и враг. Если он, враг, вообще существует. Теперь-то я об этом могу подумать. Я давно уже Командир.

Когда голого великана стащили с девки, когда уволокли его труп, я надел его мундир. Теперь уже я внушаю почтение наемникам. Они знают, что это я зарезал старика, а я знаю, что они это знают. Но им незачем знать, что он сам этого пожелал. Перед тем как мы отправились в бордель, он подошел к стене, на которой два года тому назад болтался повешенный наемник, встал там и, посмеиваясь, сказал: «Гансик, давай-ка, шарахни очередью. Идиотская мысль – что существует какой-то враг. Ну, валяй, сынок!» Я промолчал, будто не понял. Ионатан, отъехав на своей коляске, что-то выцарапывал на стене главного туннеля. Мы выдвинулись к борделям. Нужно было преодолеть бесконечные, сложно ветвящиеся галереи и хитроумные системы пещер. Я проткнул старика, когда, ерзая на своей девке, он наконец замычал – мой командир заслужил сладкую смерть. Девка заорала благим матом, подоспели другие шлюхи, положили старика на пол, встали кружком, голые, в тупом оцепенении. Я вытер кинжал краем простыни. Тут я заметил, что Командир смотрит на меня.

– Гансик, – прошептал он.

Пришлось опуститься на колени, иначе было не расслышать.

– Ты в университете учился?

Я ответил:

– Да, на философском.

– Диссертацию писал?

– О Платоне. Перед устным экзаменом началась Третья мировая.

Командир захрипел. Я не сразу сообразил, что он смеется.

– А я, Гансик, поэзию изучал. Гофмансталь.²⁸

Я поднялся с колен.

²⁸ *Гофмансталь* Гуго, фон (1874–1929) – австрийский писатель, поэт, драматург, выразитель идей декадентства в австрийской литературе.

– Умер, – сказал кто-то из девок.

Командир был великим командиром. Сегодня он был бы вдвойне благодарен за то, что я его прикончил: борделей больше нет, а они были его единственной страстью, в отличие от коньяка, к которому он просто привык, как и ко многим другим вещам. Борделей нет, зато на войне появились бабы-наемницы. Не могу не признать – в своей отчаянной смелости они дают мужчинам сто очков вперед, а так как дают и еще кое-что, адское пекло фронта теперь стократ жарче: напропалую спариваются и убивают, кровь, сперма, слизь, потроха и последы, блевотина и дерьмо, ошметки плоти и выкидыши, выбитые глаза, месиво из мозгов – все это сползает вниз по льду необозримых глетчеров, стекая в бездонные трещины.

Мне все это уже безразлично. Я, безногий, сижу в инвалидном кресле, в той же старой пещере. Рук у меня тоже нет – вместо левой к плечу приделан протез-автомат. Я стреляю в каждого, кто сунется, в туннелях навалено трупов, хорошо хоть крысы не переводятся. Вместо правой руки тоже протез, набор инструментов: клещи, молоток, гвоздодер, ножницы, резец и прочее, все из стали. В пещере по соседству находится огромный склад – консервы и отборные коньяки. Мой предшественник был запаслив. Сейчас-то тишина, у моей левой нет работы, а вот несколько лет назад все здесь ходило ходуном, – наверное, Администрация шархнула бомбой. Мне-то какое дело. Времени у меня навалом – чтобы размышлять и запечатлеть плоды размышлений, стальным резцом правого протеза вырезать надпись на каменных стенах. Эту идею я подхватил у Ионатана, метод тоже. Каменных стен предостаточно, они тянутся на сотни километров, есть кое-где и освещение, хотя перегоревшие лампы никто не заменяет. Но я и в кромешной тьме – надо значит надо – вырезаю на камне свою надпись. Уже написал о Зимней войне и о том, как я на нее пошел, о встрече с Командиром, о его смерти, стены пещеры сплошь покрыты моими письменами. Теперь я пишу на стенах большого Главного туннеля, который раньше вел к борделям. Надпись делаю длиной двести метров. Добравшись до конца, еду обратно и принимаюсь за новую двухсотметровую строку, всего их семь, одна под другой, и каждая двухсотметровой длины. Закончив седьмую строку, перехожу на другую стену туннеля. Когда и на ней вырезаны семь двухсотметровых строк моей надписи, возвращаюсь к первой стене и пишу на ней, продолжая с того места, где остановился, и опять выцарапываю строки двухсотметровой длины. На каждой стене семь надписей, в каждой надписи семь двухсотметровых строк. Так вырабатывается стилистическое мастерство.

[Далее большой фрагмент текста неразборчив. Дело в том, что писавший не видел или не имел возможности видеть, что он вырезает свою новую надпись поверх уже сделанной. В результате не удастся прочесть ни первоначальный текст, ни более поздний. На нескольких метрах стены надписи отсутствуют, затем следует продолжение.]

...тут не какая-то мистика – я даю описание бредовых видений наемника, с великим трудом слепленного, залатанного, не годного к строевой службе, – в конце концов, моя-то черепная коробка тоже из хромированной стали. Я пишу не о чем-нибудь, а о сущности Администрации. Возможно возражение: дескать, чтобы отобразить ее реальность, у меня нет необходимой дистанции, которая позволяет нам здраво судить о событиях; дескать, у того, кто обретается в пещерах и туннелях, прорытых в глубине исполинских горных массивов, не может быть дистанцированного взгляда на события. С этим не поспоришь. Даже пытаться спорить было бы смешно, но надо принять во внимание, что у меня, сидящего в кресле-коляске, ничего не осталось, кроме моих мыслей, стальных протезов вместо рук и бесконечных каменных стен. Так что мое мышление поневоле априорно. Как я полагаю, появление Администрации в ходе Третьей мировой войны было неизбежно. Законы, действующие в человеческом обществе, это не что иное, как законы природы. Законы, якобы открытые диалектическим материализмом, на мой взгляд – сущая бессмыслица: гегелевская логика бессильна, когда речь идет о законах природы! Несостоятельны и доводы в защиту

причинно-следственной модели. Совокупность всех процессов можно разбить на пары, в которых действуют причинно-следственные отношения, но самый тезис о том, что на все есть своя причина, – избитая истина. Ни один процесс не бывает вызван лишь одной причиной – их бесконечно много. Ведь ни один процесс не отсылает лишь к *одному* процессу в качестве своей причины, – любой процесс «каузально» связан со всеми существующими на свете причинами, со всем прошлым всего мира. Однако несостоятелен и другой тезис, о нем я вычитал у одного забытого древнего автора, – что закон больших чисел обеспечивает примат справедливости. Из математических понятий невозможно делать заключения об этическом; кстати, понятия справедливости и несправедливости я считаю сугубо эстетическими: какая разница, справедливо или несправедливо то, что я, безногий, с протезами вместо рук, покрываю письменами каменные стены моего лабиринта? Ни справедливость, ни несправедливость ничего не изменят в моем положении. Ну разве что сама постановка вопроса меня позабавит. Исходя из математических понятий, можно делать заключения только о физических процессах или, в гуманитарной сфере, о социальных институтах, – только здесь играет роль закон больших чисел. Законы термодинамики проявляются, только если в процесс вовлечено «очень много» молекул. Вот так же и природные законы, которым подчинены социальные институты, в экономике, политике, государственном управлении проявляют свое действие, когда речь идет об «очень многих» людях, независимо от идеологии или ценностей, в которые верят эти самые люди: эти законы соответствуют законам природы, точнее, законам термодинамики. Жестокий постулат! На тысячеметровой глубине, в недрах Госаинтана позволительно высечь его в камне. Со студенческих лет – Третья мировая не позволила мне завершить образование – у меня в памяти застряла константа Лошмидта, не имеющая какого-то отношения к области моих научных интересов: не помню, где и когда я о ней услышал. Итак: при нуле градусов Цельсия и давлении, равном одной атмосфере, в 22 415 кубических сантиметрах идеального газа число молекул постоянно и равно $6,023 \cdot 10^{23}$, умноженному на 10 в 23-й степени. Иначе говоря, константа Лошмидта выражает отношение между объемом, массой, давлением и температурой газа. Если масса увеличивается, а объем остается неизменным, то повышаются давление и температура; если, при неизменной массе, увеличивается объем, то давление и температура уменьшаются. $6,023 \cdot 10^{23}$ – «большое число». Но – малое по сравнению с числом атомов какой-нибудь звезды. По моим оценкам, их 10 в 53-й степени. Движение отдельного атома невозможно рассчитать; движение звезд – вполне возможно, ибо звезды – это организации атомов. Они подчиняются действию законов, неизбежно вызывающему деформацию атомов. Организации людей так же неизбежно деформируют отдельного человека. Государство – организация людей. Поэтому, размышляя здесь, в подземелье Гималаев, о звездах, я в то же время размышляю о государствах; в моем положении размышлять о человечестве можно лишь таким вот образом. Другой возможности применить свои мыслительные способности у меня нет, в своих размышлениях я опираюсь на то, что сберегла моя память с довоенных времен и до настоящего момента, хотя все мои познания – это лишь неточные воспоминания о неточных гипотезах. Моя цель не оставить камня на камне от мнения, будто бы Третья мировая война разразилась потому, что не было Администрации, способной войну предотвратить. На самом деле война разразилась потому, что Администрация тогда еще не могла появиться. Эмбриональное солнце, звезда, родившаяся в результате длительного процесса сгущения разреженной газовой туманности – вроде той, что в созвездии Ориона, – было огромным, его диаметр составлял один световой год, плотность же, хотя и сыграла решающую роль в дальнейших судьбах звезды, была мизерной, почти вакуум. Это газовое облако на 80 % состояло из водорода; 2 % приходилось на тяжелые элементы, прилетевшие после взрыва какой-нибудь сверхновой (если тяжелые элементы отсутствуют, планетам не из чего образоваться), наконец, 1 % – это углерод, азот,

кислород, неон; прочее – гелий. Момент импульса²⁹ не превышал 10 сантиметров в секунду, температура газа оставалась низкой. Этот газ – собственно, смесь газов и космической пыли, в нем есть даже «органические» молекулы – соединения углерода. Силы гравитации заставляют это огромное облако сжиматься, сначала оно становится красным гигантом – с диаметром, равным одному световому часу, и с постоянно возрастающим моментом импульса. Сжатие продолжается – Солнце становится таким, что могло бы вписаться в орбиту Меркурия, диаметр Солнца уменьшается до трех световых минут, из-за высокой экваториальной скорости вращения – 100 километров в секунду – Солнце сплющивается, становится диском и тут начинает выбрасывать свою материю в космическое пространство. Большая часть этой материи, прежде всего водород, улетает за пределы действия силы притяжения Солнца, но углерод, азот, кислород и неон не улетают, они образуют внешние, большие, планеты, а железо, магний, кремний – внутренние, малые. Сжатие продолжается, Солнце уменьшается до одной десятибillionной своей прежней величины, становится желтым карликом с диаметром всего-то миллион километров и экваториальной скоростью вращения, равной двум километрам в час (скорость снизилась из-за выбросов материи); теперь состояние Солнца стабильно. Зато давление внутри него возросло до ста миллиардов килограммов на один кубический сантиметр. Эдакая тяжесть должна бы раздавить Солнце, ан нет – его температура тоже возросла неимоверно, до 13 миллионов градусов, и этим обеспечивается равновесие давления. При столь высоком внутреннем жаре начинается термоядерная реакция – водород превращается в гелий и выделяется энергия. Она излучается – Солнце испускает кванты света, а внутри его царит полнейшая темнота. Потому что при колоссальной температуре внутри Солнца свет поглощается, как только им пройдено крохотное расстояние, доля сантиметра, так что кванты света в постоянном процессе излучения и поглощения отдают свою энергию менее раскаленной конвекционной зоне, которая окружает ядро Солнца, это его оболочка. Передача энергии длится десять миллионов лет. В конвекционной зоне горячие массы газа смешиваются с менее горячими, однако большей части световых квантов не удастся проскочить зону конвекции, некоторое количество энергии возвращается в ядро, но та энергия, которая все-таки ворвалась в зону конвекции, вызывает там бурное «кипение»: внешние зоны конвекции нестабильны, на Солнце появляются пятна, на его поверхности взмывают и опадают, подобно языкам огня, протуберанцы – это световые кванты, наконец вырвавшись из ядра, улетают через фотосферу, хромосферу и солнечную корону в межзвездное пространство. Теперь, помимо равновесия давления, устанавливается поверхностное равновесие и энергетическое равновесие, фотосфера излучает энергию, количество которой равно количеству энергии, поступающему в фотосферу из зоны конвекции. В солнечной энергетике достигнут баланс. Конечно, Солнце ежедневно теряет 360 миллиардов тонн материи, – не беда, при его колоссальных размерах это мизер. Но идеальное состояние не вечно: термоядерный процесс захватывает зону конвекции; поверхность Солнца раскаляется так, что жить на Земле становится трудно. Солнце разбухает и разбухает, пока опять не достигает размеров орбиты Меркурия. Тут и жизни на Земле конец, атмосфера иссякла, моря испарились. Но поверхность Солнца начинает остывать, а само оно уменьшается в размерах, и опять возрастает температура на его поверхности. Солнце снова той величины, какая у него сегодня, однако оно стало неимоверно более ярким и жарким. Оно превратилось в голубой сверхгигант. Равновесие давления восстановилось, однако Солнце уже снова сжигает гелий в своем ядре и раскаляет водород, находящийся вокруг ядра. Раскаленный водород расширяется, но не с такой громадной скоростью, чтобы оторваться от Солнца, – его потери составляют одну сотую процента всей массы Солнца. В периоды своего расширения,

²⁹ Момент импульса (кинетический момент, угловой момент, орбитальный момент, момент количества движения) характеризует количество вращательного движения.

а они достигают нескольких недель, Солнце светит в сто тысяч раз ярче, чем сегодня. В эти периоды оно является новой звездой. После того как состоятся тысячи таких расширений, Солнце, избавившись от водорода, станет белым карликом, размером не больше Земли: газ переродился, утратив прежние свойства, лишь немногочисленные электроны продолжают свободное движение, Солнце израсходовало свои ресурсы ядерной энергии и стало молекулой. Гравитация торжествует победу над экспансией, Солнце остывает, делается кристаллом величиной с Землю и затем невидимым черным карликом. Однако период времени, необходимый для этих превращений, больше, чем возраст Вселенной. Не все звезды постигает эта печальная судьба. У звезд с массой, меньшей массы Солнца, иначе говоря красных карликов, по-видимому, не образовалась конвекционная зона мало-мальски серьезного размера, и они прежде времени стали маленькими новыми, однако ядро, все же оставшееся у такой звезды, имело слишком незначительную массу, чтобы звезда могла уменьшиться до размеров белого карлика. Звезды, у которых масса в 1,44 раза превосходит массу Солнца, утрачивают стабильность тем быстрее, чем сами они тяжелее, – равновесие на поверхности, равновесие давления и энергетическое равновесие не устанавливаются надолго, такие звезды слишком расточительны со своими энергетическими ресурсами. Таковы голубые гиганты: громадное давление приводит к чудовищному разогреву ядра – до трех миллиардов градусов и выше. В этом адском пекле все элементы превращаются в гелий. Чем больше масса звезды, тем быстрее растет опасность, что она превратится в сверхновую: происходит взрыв невообразимой силы. Зона конвекции разметана в пространстве, световое излучение ярче, чем у всей галактики с ее сотнями миллиардов солнц. Ядро же, если его масса в 1,44 раза больше, чем у Солнца, то есть выходит за «предел Чандрасекара» – не к ночи будь помянут! – не может достичь равновесия, – ядро настолько тяжелое, что все больше сжимается и становится невообразимо плотным, его диаметр около десяти километров, и оно вращается вокруг своей оси со скоростью 30 оборотов в секунду. Такая нейтронная звезда не взрывается – атомы ее вещества разрушены, атомные ядра, из-за того что электроны под высоким давлением оказались вдавленными в протоны, распадаются на нейтроны, и образуется вырожденный нейтронный газ. Но бывает, что ядро звезды еще тяжелее, и тут происходит уже просто гравитационный коллапс. Эти особенно массивные и плотные ядра выпадают из пространства и времени, становятся черными дырами, которые засасывают в себя все, что есть вокруг, – столь велика их сила тяготения. Есть, однако, некая ирония в том, что я в окружающем меня непроглядном мраке вырезаю на скале надписи, посвященные гибели Солнца. *[Надпись обрывается. Ее продолжение – в другом туннеле.]*

В главную пещеру мне не удалось вернуться. Я же не знал, по каким туннелям ездил, вырезая надпись на стенах. В темноте случайно наткнулся на запасы продовольствия, банки с дешевым мясным бульоном хранились на складе, в пещере куда меньше размерами, чем командирская. Нашел я и лифт, но он отключен, стены внутри голые, Буше исчез. Провозившись целый день, я прицепил к своей коляске, орудуя правым протезом, ящик с консервами. В темноте непросто нашарить что-то протезом. А левый протез-автомат мне теперь и вовсе ни к чему. Несколько раз принимался его развинчивать, но пока что не преуспел. Ящик с консервами я волочил за собой, а сам ехал незнамо куда, изредка останавливаясь, чтобы сделать на стене кое-какие заметки, относящиеся к моей надписи. Прочитать свои заметки я, конечно, не мог, но вырезать их все же надо было. Я ведь не астроном и не физик, о звездах имею лишь смутные понятия. До Третьей мировой я читал книги на эту тему, но сегодня-то все они устарели. Прочитанное я постарался вспомнить, а на основе того, что вспомнил, реконструировал процесс жизни и смерти звезд. Поэтому я создал три версии своей надписи. *[На сегодняшний день обнаружена только одна версия, содержание которой изложено в надписях на стенах во многих туннелях. Однако не исключено, что все три версии составляют содержание одной надписи.]* Излагая третью версию, я, кажется, окон-

чательно заблудился. Даже во вторую пещеру не смог вернуться. Ничего, найду другую. Просто покачу дальше. По-моему, я все еще в туннеле, пробитом в недрах Джомолунгмы. Скалы тут гладкие, и надписи я вырезаю со всей возможной тщательностью. Забавляюсь, размышляя о черных дырах, но не только: Джомолунгма в прошлом называлась Гауризанкар, итак, я в недрах Гауризанкара стремлюсь обмозговать предел Чандрасекара. Наверное, я и на Зимнюю войну пошел, потому что прельстился звучным названием горы. Оглядываясь на прошлое, понимаешь, что в каждой судьбе есть логика. И железо, из которого сделаны протезы моего чиненого-перечиненого тела, и гигантская гора Гауризанкар обязаны своим происхождением звезде, которая пренебрегла пределом Чандрасекара и стала сверхновой, взорвавшейся шесть миллиардов лет тому назад; вбросив свое вещество в Протосолнце, эта сверхновая дала Солнцу возможность породить Землю. Выходит, большая часть меня самого древнее нашей планеты! С благоговейным трепетом вырезаю на камне имя Чандрасекара. По наблюдениям некоторых ученых, в солнечном ядре уже произошли изменения, которые через десять миллионов лет приведут к тому, что Земля станет непригодной для жизни, причем навеки. Но есть шанс, что, даже когда наша планета уподобится мертвой Луне, Гималаи не исчезнут – на Луне же есть горы. И другой шанс существует, хотя и слабенький: что за многие миллиарды лет, в течение которых Земле предстоит обращаться вокруг белого карлика по имени Солнце, и за те бесчисленные миллиарды лет, когда Земля будет вращаться вокруг черного карлика, которым опять же станет наше Солнце, на Землю прилетят астронавты из какого-нибудь иного мира. Ну и последний, в общем-то невероятный, шанс – что эти неведомые существа обнаружат и исследуют систему подземных сооружений в Гималаях. Мои наскальные письма окажутся единственным источником знаний о человечестве. Ради этого невероятного шанса я и пишу. Никакой другой цели я себе не ставил. Надо было сочинить такую надпись, чтобы из нее можно было узнать о судьбах человечества. Она не содержит ничего личного, ничего, что касается только меня, – не важно, что я тоже представитель человечества, – более того, в ней нет никаких сведений о человечестве. Все равно ведь существа из другой солнечной системы, которые однажды – через бесчисленные миллиарды лет – прочитают надпись, ничего не поймут: даже если произойдет это невероятное событие, если надпись будет кто-то читать, то читатели-то будут не люди. Природа, конечно, тупа, а все-таки вряд ли она второй раз сделает такую глупость, как создание приматов. Не повторится случайность, коей род человеческий обязан своим происхождением. Значит, потолковать с пришельцами можно не о нас, людях, а о чем-нибудь таком, что им интересно и нам тоже, то есть о звездах. В моих надписях они не найдут сведений о наших религиях, идеологиях, культурах, искусствах, эмоциях и проч., не узнают, как мы питаемся и размножаемся, зато, ознакомившись с тремя сделанными мною надписями, они смогут судить о нашем мышлении, пусть даже надписи мои – бредни дилетанта. Они составят себе представление об уровне развития наших наук, узнают, что у нас были атомная, затем водородная бомба и что мы докатились до Третьей мировой войны. Они разгадают мой код – ведь, что ни напиши, всегда пишешь о самом себе. Они заключат из моих писаний, что на голой, выжженной, окаменелой планете, куда они прибыли, когда-то обитали существа, наделенные разумом, и однажды все они, скопом, перешли предел Чандрасекара. Солнце – скопление атомов водорода, государство – скопление людей. Тут действуют одни и те же законы. Пока существует тройное равновесие – на поверхности, равновесие давления и равновесие энергии, – все стабильно; как в космосе, так и в государстве действует гравитация. Из-за гравитации образуются ядро и конвекционная зона вокруг ядра. Поначалу все идет незаметно; у протосолнца они еще едва сформированы, находятся как бы в зачаточном состоянии. Применительно к государству конвекционная зона – это власти, ядро – народ. В незапамятные времена император с канцлером на запряженной волами телеге приезжали то в один монастырь, то в другой, меняли имперские города, потому как властям надо было кормиться.

Император и канцлер – это власти. Священную Римскую империю германской нации, где они властвовали, можно сравнить с протосолнцем. Спустя пять веков оно стало нестабильным солнцем – Третьим рейхом.

Впрочем, незачем приводить примеры из истории, пришельцам они будут непонятны. Первоначально функцией государства была защита от внешних врагов, защита от внутренних врагов и защита от защитников, для этого индивид и дал государству власть. Если провести параллель между этой функцией и равновесием давления, энергии и равновесием на поверхности стабильного солнца, то в государстве подобным равновесием будет его отношение к каждому отдельному индивиду, а также отношения индивидов друг с другом. Что такое равновесие давления в стабильном государстве? Это значит, что отдельный человек обладает максимальной свободой, возможной в его отношениях с другими индивидами. Чем больше людская масса, тем больше ограничивается свобода индивида, потому что возрастает давление на него – масса накаляется, все сильнее ощущает воздействие государства, выплескиваются негативные по отношению к государству эмоции и так далее. Энергетическое равновесие солнца мы понимаем так: материя превращается в такое количество энергии, какое солнце способно излучать, и не большее. Применительно к государству: оно производит не больше, чем расходует. Энергетическое равновесие нарушается, если давление возрастает либо, напротив, ослабевает. Например, у звезды S Золотой Рыбы, голубого гиганта в 80 тысяч раз ярче нашего Солнца, конвекционная зона слабая, поэтому давление внутри недостаточное, так что материя ядра беспрепятственно преобразуется в энергию, которая излучается в окружающее пространство, словом, звезда сама себя сжигает.

Такая судьба постигла и некоторые государства. В большинстве государств, до Третьей мировой войны, все подчинили своей силе зоны конвекции, то бишь структуры государственной власти. Государственная власть усилилась. Появились сверхмощные государства, которые тратили энергии меньше, чем производили, энергия накапливалась. Государства стали заложниками своих собственных властных структур. Ведь энергетическое равновесие сохраняется, пока энергии вырабатывается столько же, сколько потребляется. У голубого гиганта, звезды со слабой конвекционной зоной, – хотя она гораздо мощней, чем у нашего Солнца, – предложение энергии превышает спрос; внутри звезды идет жесточайшая конкурентная борьба. Перед Третьей мировой то же самое наблюдалось в индустриальных державах. Напротив, у сверхтяжелых звезд спрос на энергию превышает предложение, – материя хоть и преобразуется в энергию, однако всю энергию поглощает конвекционная зона. Такое государство становится жертвой своих же органов власти. Им нужна военная сила для защиты от внешних и внутренних врагов. Но и не только военная сила – властям нужна идеология, и они создают сверхмощное духовное силовое поле. Власть, или конвекционная зона, не терпит никакой идеологии, кроме своей, инакомыслящих объявляют асоциальными элементами, психически ненормальными или вообще расправляются с ними как с государственными изменниками. Государство все прочнее, все крепче, а значит, неуклонно возрастает давление на народ – ядро. В ядре, в недрах народа, начинается термоядерная реакция, в нее вовлекаются все более широкие слои населения, но это выгодно только государству, точнее его органам и структурам, они постоянно наращивают потенциал своей власти, отнюдь не по злему умыслу, а от беспомощности. Царь и бог в сверхтяжелых государствах – планирование. Об энергетическом равновесии тут не приходится говорить, так как давление может только расти, а не уменьшаться, и в конце концов происходит гравитационный коллапс. Такой была политическая ситуация накануне Третьей мировой войны. Сверхтяжелые государства-звезды не стремились завоевать весь мир, но постоянно давили на него своей тяжестью. Их гравитация будто всасывала в себя аннигилированную материю голубых гигантов. Из-за этого гиганты съезжились, внутреннее давление в них неимоверно возросло; поскольку нарушилось экономическое равновесие, они стали «социальными», а

затем также превратились в сверхтяжелые звезды. При этом не играло роли, каким был их экономический, социальный и идеологический строй; дело в том, что государства, «приверженные свободам», тоже усилили давление на свое ядро – народ, издав указы об инакомыслии. Процесс был необратим. Началась гонка вооружений. Все государства производили больше энергии, чем тратили. Рост внутреннего давления приводил к деградации общества на всех уровнях: большие семьи распадались, вместо них появлялись маленькие семьи, но и те утрачивали стабильность, сбивались в коммуны или всевозможные сообщества, которые в свою очередь тоже разваливались. Всех охватила жуткая лихорадка, безумная суетливая деятельность, беспощадная борьба за существование, связанная с ненасытным потреблением жизненных благ. Общество все больше распадалось на два класса: тех, кто, проникнув в конвекционную зону, обеспечил свою безопасность, и тех беззащитных, которые испытывали неимоверное давление и чудовищный перегрев внутри солнца. Однако колоссальная энергия в недрах солнца, возникшая из этой лихорадки, поглощалась конвекционной зоной, то бишь властями, которые, дабы сдерживать эти внутренние силы, повышали налоги. Все политические события разыгрывались на поверхности, не оказывая влияния на ядерные процессы внутри солнца, политика превратилась в пустословие, поэтому внутренние события вышли из-под контроля: давление стало чрезмерным, конвекционную зону все чаще пробивали энергетические удары, поднимались и рушились экономические империи, разражались кризисы, свирепствовала инфляция; фантастические махинации, дикие теракты, уголовщина, катастрофы и бедствия – все нарастало, грозило взрывом, – государства утратили стабильность. Бессильная как-то повлиять на эти чудовищные протуберанцы, политика стала циничной, то есть так же, как мертвая церковь, культовой, наконец оккультной. Проповедовали классовую борьбу или либерализм, даже не подозревая, что все дело в том, как масса превращается в энергию, и не считаясь с тем, что народ, ставший массой, непредсказуем. Шла пропаганда за социальное государство, либеральное государство, государство всеобщего благоденствия, христианское, иудейское, мусульманское, буддистское, коммунистическое, маоистское и так далее, и никто ни сном ни духом не ведал, что чрезмерно мощное государство может стать структурой столь же взрывоопасной, как сверхтяжелая звезда. И взрыв грянул: разразилась Третья мировая война. Никем не предвиденные последствия бомбардировки нефтеносных районов водородными бомбами можно считать своеобразным подобием взрыва сверхновой; а что уж говорить о других бомбах... Внутреннее давление и внутренний накал перешли критический предел, равновесие на поверхности нарушилось, чудовищным взрывом разметало гигантские конвекционные зоны – армии, обеспеченные немислимым количеством оружия и уже давно не только ставшие частью органов государственной власти, но и контролировавшие эту самую власть. Катастрофу страшно усугубило то, что государства-солнца имели общие границы, тогда как в космосе расстояние между звездами – в среднем три с половиной световых года. Взрыв сверхновой, затем конец: человечество как нейтронная звезда. Выжившие – а сколько жизней унесла только катастрофа проекта «Сахара»! – мучаются в тесноте на жалких клочках земли, пригодных или сделанных пригодными для обитания; эти люди образуют теперь конвекционную зону, для которой подходит астрономический термин «нейтронное газовое облако» или «вырожденный нейтронный газ», их масса взята под тотальный административный контроль, масса стала «Администрацией», потому что нет никакой возможности понять, кто кому административно подчинен. Правда, у человечества, в точности как у нейтронной звезды, сохранился первоначальный вращательный импульс, это его агрессивность. Но он сойдет на нет: в случае нейтронной звезды об этом позаботится время, а в случае человечества – Зимняя война на Гауризанкаре. На ней перебьют друг друга агрессивные особи, кому необходим образ врага, а под каким предлогом они будут воевать, не важно. (Перед Третьей мировой террористы действовали под самыми несуразными предлогами – тут нечто вроде самогипноза.

Они чистосердечно считали себя борцами за всемирное братство людей. Пожили бы при таком братстве – сдохли бы со скуки.) Расчет Чандрасекара подтвердился.

Перед тем как двинуться дальше, ответу на одно возражение, которое, надо полагать, как раз здесь выскажут инопланетные существа, если, конечно, вообще прочитают мои надписи. Материя подчинена закону энтропии, она стремится вернуться в максимально вероятное для себя состояние. Вначале вся материя представляла собой сгусток такого объема, что он поместился бы в орбите Нептуна, – подобный объем занимали все элементарные частицы Вселенной, пока не разлетелись кто куда. Это было максимально невероятное состояние, в каком может находиться материя. А максимально вероятное состояние – это ее гибель. 95 процентов материи аннигилирует: от звезд останутся черные – бывшие красные – карлики, черные – бывшие белые – карлики, черные дыры, скопления мертвых планет, астероидов, метеоров и проч. Но в живой природе все наоборот: условия, при которых возникла жизнь, хоть и были невероятными, но как раз эта невероятность породила самое вероятное – вирус, затем одноклеточный организм. Но потом органическая жизнь становится все менее вероятной, а мыслящее существо – это самое невероятное, потому что самое сложное, существо во Вселенной. Оно, по-видимому, сопротивляется энтропии, этому вселенскому закону, ведь за три миллиарда лет этот редкий биологический вид так размножился, что теперь его масса составляет шесть миллиардов особей. Да только видимость обманчива: чем невероятней жизнь, тем вероятней ее конец, смерть. Вирус и даже одноклеточный организм может «жить» вечно. Животные умирают, однако о смерти не ведают. А человек знает, что однажды он умрет, и потому его смерть будет значить для него больше, чем просто самый вероятный конец жизни, она будет заведомым, несомненным концом. Смерть и энтропия – на самом деле это один вселенский закон, они идентичны. А значит, мы, «люди» (это слово ничего вам не скажет), и вы, читающие мои строки, идентичны: вы-то ведь тоже умрете.

[Надпись продолжается в другой галерее.] Деятельность Администрации основана на законе: «homo homini lupus est», по-нашему: «человек человеку волк». Странно, почему-то, выцарапывая эти слова на камне, я думал о Глухонемом. И вдруг будто камнем по башке ударило: что, если Глухонемой – это Ионатан? Нелепость, бессмыслица, просто я вспомнил о Ионатане, когда думал о Глухонемом. Прикатив на инвалидном кресле в пещеру Командира, я увидел, что Ионатана там нет. Может быть, он, как я, тоже изукрашивает каракулями стены в каком-нибудь туннеле.

С Глухонемым я впервые встретился в своем родном городе. Это было уже после Третьей мировой. А незадолго до ее начала правительство, государственные органы и парламент, обе палаты, укрылись в громадных бункерах, вырытых под Блюмлисальпом. Ибо неперенным условием успешной обороны страны считали наличие законодательной и исполнительной власти, надежно защищенной от любых атак. В недрах Блюмлисальпа была построена точная копия покинутого здания парламента, со всеми подземными секретными убежищами, которыми оно оборудовано, и радиостанцией. Даже вид из окон воспроизвели, о чем позаботились художники-декораторы городского театра, используя фотографии и подсветку. Вокруг разместили жилые дома, кинотеатры, часовню, бары, кегельбаны, больницу и фитнес-центр. Дальше проложили три кольца: кольцо снабжения, с провиантскими складами и винными погребами (не забыли о винах из кантона Во), и два кольца обороны – внутреннее и внешнее. На следующем уровне под этими грандиозными сооружениями – банковские бронированные залы, а в них золотые слитки, сокровища чуть не со всего света. Еще уровнем ниже – атомная электростанция. Правительство и парламент заседали в непрерывном режиме. Машина управления вертелась на полных оборотах. Когда я, приняв к исполнению секретное задание, докладывал о своем отбытии для дальнейшего официального вступления в должность офицера связи при Командире, в парламенте шло утверждение новой доктрины обороны страны: власти постановили, что в ближайшие десять лет будут закуп-

лены сто танков Гепард-9 и пятьдесят бомбардировщиков Вампир-3. Я взял под козырек, члены правительства и обеих палат парламента встали и затянули «Швейцарский псалом».³⁰ Настроение у всех было подавленное. Даже после всеобщей мобилизации никто не верил, что будет Третья мировая война. Надеялись на бомбы – вот, дескать, гарантия, что до войны не дойдет. Бомбами-то все обзавелись, даже мы. Да, мы создали бомбу, невзирая на ожесточенные протесты борцов за прогресс, противников атомной энергии, уклонистов-пацифистов, попов и прочих непотребных элементов. А как же! Ведь нас опередило даже княжество Лихтенштейн, и у всех стран Африки уже были свои бомбы. Так что мы уверовали: если дойдет до войны, в ход пустят обычное вооружение, да только мы не верили в возможность обычной войны. С одной стороны, производство бомб вылилось в такие суммы, что на обычное оружие денег не осталось, воевать на обычной войне было нечем. С другой стороны, бомбой мы обзавелись для того, чтобы обычной войны не произошло. Скверное положение на международной арене – вот в чем была наша печаль. Мы без конца заявляли о своей позиции вооруженного политического нейтралитета, однако понемногу укреплялись в подозрении, что наше священное политическое кредо ни один из участников противостояния не принимает всерьез. Одни считали нас политическими союзниками, а значит, и соратниками в случае войны, для других мы являлись потенциальным военным противником. Поэтому мы были вынуждены провести мобилизацию и подтянуть нашу армию, как-никак 800 тысяч бойцов, к восточным границам страны. А то ведь неизвестно, чего пришлось бы ждать от западных держав, которые были бы вправе считать нас слабым участком своего фронта. Нельзя умолчать и о том, что население не доверяло правительству, а солдаты подчинялись только потому, что куда же денешься. С некоторых пор мы были вынуждены приговаривать к пожизненному заключению уклоняющихся от призыва. Их спасали от расстрела – его требовали военные ведомства – только акты о помиловании. Население относилось к правительству прямо-таки враждебно. Все знали, что правительство, государственные чиновники и парламент, общим числом пять тысяч человек, засели в надежных подземных убежищах, а простые люди беззащитны. Хорошо хоть управились с мобилизацией до всеобщих выборов в органы власти. Третья мировая, начавшись, целых два дня шла как обычная война, наша армия, впервые после взятия Милана в 1512 году, одерживала победы: когда мощная бомба упала на Блюмлисальп, другие мощные бомбы – на правительственные бункеры в других странах, когда пошла цепная реакция ударов и ответных ударов, – мы в Тироле, под Ландеком уже остановили русских, между тем в Северную Италию они вторглись. Известие о капитуляции союзных и вражеских армий застало моего Командира в одном из курортных отелей Нижнего Энгадина. Мы сидели в просторном холле, расположившись в глубоких мягких креслах, вокруг – офицеры штаба. Напитков тогда было еще вдоволь. Общее настроение – хоть кого разбомбим. Командир наслаждался музыкой – это его страсть. Струнный квартет исполнял «Девушку и смерть» Шуберта. И тут ординарец приносит радиogramму. Командир, заглянув в текст, осклабился:

– Ну-ка, Гансик, прочти всем эту писульку.

На улице радостно вопили – радист успел-таки разгласить сообщение. Командир взял автомат. Я встал. Квартет замолк. Я зачитал радиogramму. Эффект был грандиозный. Квартет врезал что-то из венгерских рапсодий Листа. Офицеры орали от радости, обнимались. Автоматные очереди Командира уложили всех до единого. Три рожка он расстрелял. В холле дикая свалка: трупы, изодранные кресла, осколки стекла, разбитые бутылки от коньяка, шампанского, виски, вина... Смертельно перепуганные, дрожащие музыканты запиликали

³⁰ «Швейцарский псалом» – песня, написанная в 1841 г. священником и композитором Альберихом Цвигсигом, текст Леонарда Видмера. В 1981 г. утверждена в качестве национального гимна Швейцарии.

Andante con moto из «Девушки и смерти», вариацию «Не бойся, зла не причиню, ты будешь сладко спать в моих объятьях». Когда сели в джип, Командир сказал:

– Все как один трусы и изменники.

Он вернулся в отель и расстрелял музыкантов к чертям собачьим.

В Скуоле мы с Командиром расстались. Дальше ему нужно было в Инсбрук, а я поехал в Верхний Энгадин. Ближе к Цернецу, на обочине, где они лежали рядом, я насчитал более трехсот офицеров, от командующего корпусом до лейтенанта, все – расстреляны своими солдатами. Я, проезжая, держал под козырек. В Санкт-Морице шел погром, пылали роскошные отели, с треском рассыпались искры над шале знаменитого дирижера. Надо было переодеться в штатское, я зашел в шикарный магазин мужской одежды, в таких сливки общества одеваются, и взял джинсовый костюмчик, на нем еще ценник болтался – три тысячи. Где-нибудь на распродаже за него и трехсот не запросили бы. Продавцы не показывались. Заправить джип было негде и нечем, так что я его бросил, оба автомата тоже, оставил себе только револьвер. На улице я подобрал чей-то велосипед и покатил на Малойю. Поднялся на перевал и тут впервые за долгое время увидел ясное ночное небо. Внутренний край месяца был зловеще-багровым, – отблеск пожаров, бушевавших, должно быть, на огромных территориях. Спустившись в деревеньку, неподалеку от места, где прежде проходила граница, я стал искать ночлег. В деревне было темновато, зато противоположный склон долины заливало алое, как киноварь, зарево. Я осторожно подобрался к дому, который принял за нежилую постройку, вроде сарая. Обошел вокруг и обнаружил на задней стене лестницу на второй этаж. Дверь открыл легко. Внутри была темень, я посветил по углам фонариком. Ясно, я в мастерской художника. У стены стояла картина: люди, все как бы опрокинуты, сбиты с ног, а середина пустая, призрачная, там проступал слабо натянутый, кое-как загрунтованный холст, – словно сеть, подумал я, в которой запутались люди. На противоположной стене – еще картина: кладбище, белые надгробия и как бы пробитое, разможенное ими, несоразмерно крупное изображение какого-то человека; безумство – словно художник, из внутреннего протеста, пытался разрушить свою картину. Похоже, в этой мастерской конец света уже свершился. В центре помещения стояла жуткая железная кровать, с рваным полосатым матрасом, из дыр торчали клочья конского волоса. Рядом с кроватью – древнее, изодранное и заляпанное красками кресло. В глубине мастерской, под окном я заметил картину с изображением издыхающей суки, едва различимым в бесконечной желтизне охры. И вдруг я увидел портрет человека, похожего на моего Командира. Голый, жирный, он лежит на железной кровати, косматая борода разметалась по груди, необъятный живот раздут, печень заметно выпирает, ноги раскинуты. В глазах – гордость и безумие. Я поежился от холода. Взял нож, вырезал картину из рамы, лег на кровать и накрылся холстом как одеялом, хоть и воняло от него красками. Когда проснулся, вокруг был грязный утренний свет. Я сжал в руке револьвер. Перед пустой рамой, из которой я вырезал холст, стояла старуха. В грубых опорах, в черном платье. Нос острый, на затылке седой пучок. В руках большая пузатая чашка. Старуха вылупила на меня красные глаза. Я спросил:

– Ты кто?

Ответа не последовало. Я повторил вопрос по-итальянски. Она ответила:

– Антония.

Подошла с важным видом и подала мне чашку. В ней оказалось молоко. Я выпил молоко и выбрался из-под холста. Старуха поглядела на изображение и засмеялась:

– *L'attore!*³¹ – Потом важно сказала мне: – *Non andare nelle montagne. Tu sei il nemico.*³²

³¹ Художник! (*ит.*)

³² В горы не ходи. Ты враг (*ит.*).

Лишилась рассудка, как и многие другие. Я вышел на улицу. Велосипед мой украли, деревня всеми покинута, граница не охранялась. Городок Кьявенну разграбили турецкие офицеры, удиравшие от своих солдат. В каком-то гараже я взял мотоцикл. Хозяин равнодушно проводил меня взглядом, у него изнасиловали и убили жену и двух дочерей. За перешагиванием Шплуген я сбросил в озеро русского офицера, мотоцикл тоже пошел ко дну. Офицер напал на меня, когда я притормозил, чтобы полюбоваться грибом атомного взрыва, выросшим в небе на западе. Гриб я видел впервые в жизни. Немного дальше я набрел на обломки вертолета. Обыскал кабину, нашел документы того русского. Фамилию забыл, запомнилось только место рождения, Иркутск.

Пришел в Тузис, город полностью разрушен. Я начал осознавать, что происходит в нашей стране. Чтобы добраться до места назначения, мне понадобилось два года, этим все сказано. Ни к чему детально описывать мое странствие по кругам современного ада, хватит и некоторых беглых заметок. Люди, выжившие после ядерного взрыва, если вообще кто-то мог выжить, – возложили ответственность за Третью мировую на технику и образование. И разворотили не только атомные, но и гидроэлектростанции, а заодно и плотины. Жертвами наводнений стали сотни тысяч людей; опять же тысячи и тысячи погибли, отравленные, когда клубы ядовитого дыма поднялись над горящими химическими заводами, в своей ярости люди и на них подняли руку. Всюду взрывали бензозаправки, сжигали автомобили; разбивали радиоприемники, телевизоры, – на что они теперь? – проигрыватели, стиральные машины, компьютеры. Громили музеи, библиотеки, больницы. Картина самоубийства целой страны. Город Кур превратился в настоящий сумасшедший дом. В Гларусе сжигали «ведьм» – лаборанток, стенографисток и машинисток. В Аппенцелле толпа разнесла до основания монастырь Санкт-Галлен, вопя, что наука – порождение христианства. Бесценная библиотека с ее жемчужиной – «Песнью о Нибелунгах» – погибла в огне. На огромном пожарище, где некогда был Цюрих, власть захватили рокеры. Они топили в водах Лиммата сторонников партии прогресса и социалистов, а заодно профессоров и преподавателей обоих цюрихских университетов. На руинах драматического театра устраивали свои сборища сектанты, исповедующие учение о пустоте мира. Жрицы ходили брюхатые. Вынашивали, производили на свет что-то невыразимо безобразное и тут же, на сцене, насмерть забивали своих уродцев. Радения их были оргиями: пустомирцы совокуплялись вповалку, в надежде наплодить еще более отвратительных вырожденцев. В Ольтене тысячи школьных учителей были распяты на высокой деревянной конструкции. Их согнали со всей страны. А в кантоне Граубюнден уже вовсю шла «великая кончина». В первое время тамошние жители предавались необузданному разврату, грабили, громили, крушили все, что попадалось на пути, устраивали чудовищные пожары, уничтожали транспорт и дороги, но затем началась всеобщая апатия. Люди понуро сидели, не в силах пошевелиться, на развалинах своих домов, ими же самими разрушенных, тупо уставясь в одну точку, или ложились и не вставали, умирали. Волна погромов пошла на убыль. Нигде ни машин, ни дорог – лишь руины, да еще невероятные запасы продовольствия, сделанные в расчете на восьмимиллионное население, от которого хорошо если осталось сто тысяч. Люди мерли, подыхала скотина. На полях, сколько видит глаз, всё падаль и падаль. Зато птиц стало невероятно много. Мертвецов хоронили с почестями. Сколачивали гробы, да только их катастрофически не хватало, – стали разорять старые кладбища, вытаскивая из могил еще не сгнившие доски, или хоронили покойников в сундуках, шкафах. Нескончаемые пышные похоронные процессии. Лето выдалось небывало знойное, жара и осенью не ослабла, но люди в черных одеждах все шли следом за гробами или впрягались и тянули дроги, на которых штабелями громоздились гробы. После похорон устраивалась грандиозная поминальная трапеза, причем для большинства провожающих она становилась последней в земной юдоли: вскоре их тоже хоронили, и поредевшие процессии возобновляли свое скорбное шествие на кладбища. Казалось,

народ сам себя хоронил. Потом в Шраттен-Ру по неустановленной причине загорелся наш склад нейтронных бомб. А в Эмментале я проходил через деревню, в которой был большой молочный завод. В деревне все чистенько, все прибрано, на окнах домов огненно-красные герани, однако нигде ни души. У меня живот подвело от голода. Завернул в трактир «У Креста». В зале – никого. В кухне – хозяин, мертвый. Здоровенный детина, колосс, он мирно лежал, уткнувшись лицом в миску с мороженым «фруктовая бомба». Я прошел в банкетный зал. За празднично убранными столами сидело человек сто – мужчины и женщины самого разного возраста, дети – мальчики, девочки. За длинным столом в центре зала сидели жених с невестой. Молодая в белом свадебном платье; по левую руку от жениха – дородная матрона в бернском народном платье. Все эти празднично одетые, совершенно мирные люди были мертвы. Еда на тарелках не доедена – кушанья подносили гостям, должно быть, не раз. На полу лежали трупы официанток. На каждом столе стояла громадная «бернская мясная тарелка»: окорок по-деревенски, свиные ребрышки, шпиг, языковая колбаса, и гарнир – фасоль, кислая капуста, отварной картофель. Справа от невесты стул был отодвинут от стола, на полу лежал пожилой мужчина с громадной, разметающейся по груди бородачей. В руке он держал листок – я пригляделся – со стихами. Я сел на его стул, рядом с невестой, навалил себе полную тарелку бернских деликатесов. Мясо было еще теплое.

Не очень-то решительно я вырезаю эти строки на каменных стенах туннеля: многое в моих воспоминаниях сегодня вызывает у меня сомнение. Например, то, что жара простояла еще и всю зиму, ничуть не уменьшившись, – в воспоминаниях я снова и снова вижу огромные затопленные пространства. В родной город я добирался пешком, по пустынной автотрассе. Чем ближе был город, тем безлюдней становилась местность вокруг. Автотрасса на протяжении многих километров заросла густой травой, разворотившей бетонное покрытие; иногда я шагал вдоль нескончаемой вереницы машин, сверху донизу оплетенных плющом. Однажды разглядел вроде бы самолет в небе, но он был слишком высоко, шума я не слышал. Достигнув городских предместий, я увидел развалины – разбитые торговые центры – какой в них теперь смысл? – выгоревшие дотла высотные дома. Я свернул с автострады. Передо мной в лучах заката лежал Старый город. Он, словно бы целый и невредимый, стоял на полуострове, в излучине реки. Теплое золото заката изливалось в просветах между каменными стенами. Город поразил меня своей красотой – с ней не могли сравниться даже великолепные виды Макалу и Джомолунгмы, сразу потускневшие в моих воспоминаниях. Но мосты, ведущие в мой город, были разрушены. Я вернулся на трассу, по ней, хоть и разбитой, как-нибудь переберусь через реку. Атомный гриб теперь маячил в южной стороне неба. Когда я дошел до леса, гриб превратился в гигантский, нахлобученный на вершины Альп колокол, излучающий яркий свет, от которого посветлело ночное небо. Бункеры не получили повреждений, койки застелены чистым бельем. Я подождал. Бюрки не явился. Я заснул. Утром отправился в центр города. Вместо университета – развалины, здание философского семинара сгорело, фасад с окнами обвалился, книги библиотеки спеклись, стали черными комьями шлака. Стол, за которым мы занимались, лежал, со сломанными ножками, на полу. Не пострадала только доска на стене. У доски стоял какой-то человек. Спинай ко мне, сунув руки в карманы потертой солдатской шинели. Я окликнул его:

– Привет!

Он не шевельнулся. Я позвал громче:

– Эй!

Нет, не услышал. Я подошел, тронул его за плечо. Он обернулся. Лицо, почерневшее от лучевого ожога и без всякого выражения. Взяв с доски кусок мела, он написал: «Огнестрельное в голову. Глухонемой. Я читать твои губы. Ты говорить медленно». Он повернулся ко мне. Я раздельно произнес:

– Кто... ты?

Он пожал плечами.

– Где тут служба солдатских попечителей?

Он написал на доске:

– Тибет. Война. – И посмотрел на меня.

– Сол-дат-ские по-пе-чи-тели, – медленно, по слогам повторил я. – Где они?

Он написал: «60231023», бессмыслица, я запомнил число только потому, что на офицерской службе привык заучивать всякие номера. Шестьдесят, двадцать три, десять, двадцать три. Он все смотрел на меня, скривив обожженный рот. Не понять было, то ли в улыбке, то ли злобно. Я постучал себя по лбу. Глухонемой написал: «Искать смысл» – и опять воззрился на меня. Я взял мелок, зачеркнул последние слова и написал: «Чушь», бросив на пол, раздавил мел каблуком и зашагал прочь из разрушенного университета. Возле сгоревшей студенческой столовой мне встретился какой-то плюгавый человечек. На правой щеке у него была большая черная язва. Он толкал перед собой тачку со штабелем книг, сказал, что возвращается с развалин филологического семинара, и махнул рукой в сторону целого поля руин и обломков за главным зданием. Вот, пояснил он, книги там подобрал. Я взял ту, что лежала сверху, взглянул – «Эмилия Галотти».

– Я переплетчик, – сказал плюгавый. – Но у нас и издатель есть, тоже работает. Мы теперь книжку издаем. Сто экземпляров напечатаем. Потом еще сотню. Люди снова читают. Погодите, они еще будут глотать книги! Это успех! Это бомба! – Он прямо-таки лучился от радости. – Понимаете, я не умираю. Я выжил. А на щеке – чепуха, меланома.

Я с сомнением заметил, что Лессинг, пожалуй, не массовое чтение.

– Лессинг? Кто такой?

Я показал ему «Эмилию Галотти».

– Эта? – удивился плюгавый. – Так эти-то книги не для чтения, их сжигают. Я печатаю «Хайди». Автор – Иоганна Спири. Запомните это имя: Иоганна Спири! Это классика!

И вдруг он заподозрил неладное:

– Ты, что ли, воевал?

Я кивнул.

– Офицер? – В его голосе зазвучала угроза.

Я отрицательно помотал головой.

– А раньше?

– Раньше студентом был.

Он угрюмо покосился на свою тачку.

– Такие вот книжки читал, да?

– И такие.

– Это вы, образованные, все просрали, – окрысился плюгавый. – Вы, с вашими дерьмовыми книжонками!

Я спросил, где искать солдатских попечителей.

– Возле ратуши, – ответил он. – Наверное, ты все-таки был офицером... – И покатил дальше свою тачку.

Я вернулся на развалины университета. Все там заросло зеленью. Раньше лес подступал к северным городским окраинам, теперь же он захватил самый город. В разрушенном здании филологического семинара я подобрал обрывки «Трагической истории литературы»³³ и пару страничек какого-то предисловия, что-то про важнейшие понятия поэтики. За университетом, ниже по склону, вместо городского вокзала высились гигантские груды щебня. Все дома в Госпитальном и Рыночном переулках были заброшены, пусты, окна мага-

³³ Полемическое сочинение швейцарского писателя Вальтера Мушга (1898–1965).

зинов выбиты. Но собор еще стоял. Я прошел к главному portalу – от «Страшного суда»³⁴ ничего не осталось. Когда я проходил вдоль центрального нефа, за моей спиной с грохотом рухнул на булыжники водосток. На углу Крестового переулкa стоял, прислонившись к стене, какой-то оборванец.

– Нравится жизнью рисковать? – ухмыльнулся он.

Я спросил, кто уничтожил «Страшный суд».

– Я, – ответил оборванец. – Ни к чему нам «Страшный суд», теперь-то.

Служба солдатских попечителей находилась рядом с городской ратушей, в здании церкви, которую я вроде бы помнил. Внутри вдоль стен лежали матрасы, на них сложенные шерстяные одеяла. Вокруг каменной купели стояли три стула, а на самой купели – тарелка с куском торта. Я заметил остатки росписи, но такой облезлой, что и не угадаешь, что было изображено. В церкви ни души. Некоторое время я прохаживался туда и сюда. Никто не появился. Я открыл дверь, боковую, неподалеку от купели. Вошел в ризницу. За столом сидела толстая старуха в никелированных очках, ела торт. На мой вопрос, здесь ли находится служба солдатского попечения, старуха, смачно чавкая, объявила:

– Солдатское попечение – это я. – И, проглотив кусок, спросила: – А ты кто?

Я назвал свой псевдоним – «Рюкхарт».

Толстуха наморщила лоб, что-то соображая:

– У папаши моего была книжка какого-то Рюкарта. Ага, «Брамс многомудрый».

– «Мудрость брахманов», автор Фридрих Рюккерт, – поправил я.

– Может, и так. – Толстуха отрезала себе новый кусок торта и провозгласила: – Морковный торт.

– Где найти коменданта города?

Прожевав, она ответила:

– Армия капитулировала. Нет больше никаких комендантов. А есть Администрация.

Вот так я впервые о ней услышал.

– Это вы о ком? – поинтересовался я.

Толстуха облизала пальцы.

– О ком – «о ком»?

– Об Администрации.

– Администрация – это Администрация, – отрезала толстуха.

Я все смотрел, как она уплетает морковный торт. Потом спросил, много ли солдат находится на ее попечении.

– Один, слепак.

Я насторожился:

– А зовут как? Бюрки?

Старуха все жевала и жевала. Наконец прожевала и ответила:

– Штауфер. Слепака звать Штауфер. Прежде-то много солдат у меня было. Да все пермерли. Все были слепаки. Ты тоже, хочешь, живи тут. Ты ведь тоже солдатом был, а то не пришел бы сюда.

– Я уже нашел жилье.

– Дело твое. – Она затолкала в рот последний еще остававшийся кусок торта. – Мы тут едим два раза: ровно в двенадцать и вечером ровно в восемь. Морковный торт едим.

Я вышел из ризницы. Возле купели сидел старик. Я сел напротив.

– Я слепой, – сообщил он.

– Как же это тебя?

³⁴ Барельефная композиция, созданная мастером Эрхардом Кюнгом в XV–XVI вв., состоящая из 47 больших и 170 меньших скульптурных изображений.

– Я молнию видел, – ответил он. – Другие тоже молнию видели. Все они умерли. – Он отодвинул от себя тарелку. – Терпеть не могу морковный торт. Он только этой старухе по вкусу.

– Ты Штауфер? – спросил я.

– Нет. Хадорн. Хадорн моя фамилия. Штауфер умер. А ты Рюгер?

– Нет. Моя фамилия Рюкхарт.

– Жаль. Был бы ты Рюгер, передал бы тебе кое-что.

– Что?

– Кое-что. От Штауфера.

– Он же мертвец.

– Он тоже получил это от мертвеца.

– От какого еще мертвеца?

– От Цаугга.

– Не знаю такого.

– Цаугг тоже получил это от мертвеца.

Я почесал в затылке.

– От Бюрки?

Слепой задумался, потом не слишком уверенно ответил:

– Нет. Того звали Бургер.

Я не отступался:

– Может, его все-таки звали Бюрки?

Слепец опять надолго задумался и наконец сказал:

– У меня плохая память на имена.

– Послушай, – сказал я, – моя фамилия на самом деле Рюгер.

– Значит, и у тебя память дырявая. Ты же сам сказал, ты не Рюгер. Да мне-то какая разница, как тебя зовут. – И он что-то пододвинул ко мне, накрыв ладонью. Ключ, принадлежавший Бюрки.

Я спросил:

– Администрация это кто?

– Эдингер.

– Кто такой этот Эдингер?

– Не знаю.

Я встал, сунул ключ в карман и сказал:

– Я ухожу.

– А я остаюсь, – ответил слепой. – Все одно скоро умру.

Мясницкий переулок лежал в развалинах, Часовая башня рухнула. Когда я добрался до здания правительства, была уже ночь, но светлая, как при полнолунии. Обе статуи у главного входа лишились голов. Купол обвалился, подняться по главной лестнице можно было не без риска для жизни, а вот зал заседаний Большой палаты, как ни странно, не пострадал, там даже уцелела отвратительная гигантская фреска. Но исчезли все депутатские скамьи. Вместо них стояли изодранные диваны, а на них сидели женщины в изодранных, как эти диваны, шелковых халатах, некоторые с голой грудью, все это в мутном свете нескольких керосиновых ламп. Ложи для публики были задернуты занавесями. Ораторская трибуна была в целости и сохранности. На председательском месте сидела женщина, круглолицая, с твердым взглядом, в офицерской форме Армии спасения. Пахло луком. Я нерешительно остановился в дверях.

– Входи, – повелела «спасительница». – Выбирай кого хочешь.

– Денег нет, – ответил я.

Женщина вытаращила глаза.

– Сын мой! Да ты откуда к нам?
– С фронта.
Она еще больше удивилась:
– Долго пришлось тебе шагать! Ластик есть?
– Что? Да за...
– За девочку, ясное дело. Мы берем, если нам что-то нужно. Лучше бы, конечно, точилку для карандашей.
– Все мое имущество – револьвер, – сказал я.
– Давай-ка его сюда, сын мой! А не то донесу о тебе Администрации.
– Эдингеру?
– Кому же еще?
– Где находится Администрация?
– На Эйгерплац.
– Это Эдингер разрешил устроить здесь бардак?
– Заведение, сын мой!
– Заведение, заведение. Он разрешил?
– Ну конечно. После бомбы мы получили дозу. Мы скоро умрем. Всякое удовольствие, какое может дать человек человеку, есть служение любви, угодное Богу. Горжусь, что моя бригада это понимает. Я майор. – Она простерла руку к женщинам на изодранных диванах. – Посвященные смерти к любви готовы!
– Мне бы найти Нору, – сказал я.
Майорша позвонила председателским колокольчиком и крикнула: «Нора!»
Наверху, в ложе дипломатического корпуса приоткрылся занавес. Показалась голова Норы.
– Ну что? – спросила Нора.
– Клиент, – сказала майорша.
– Я еще занята. – Нора скрылась.
– Находится при исполнении служебных обязанностей, – констатировала майорша.
– Я подожду, – сказал я.
Майорша назвала цену:
– В уплату – револьвер.
Я отдал револьвер.
– Садись, сын мой, – распорядилась она. – И жди.
Я сел на драный диван, устроившись между двумя девками. Майорша вытащила из-за спинки своего кресла гитару, настроила, и грянул хор:

Нашей чистоты порука —
Долг любви, ее закон.
В смертный час любая мука
Превращается в фантом.
Наш Господь висел распятый —
Ах, какая жалость!
Нам от бомбы распроклятой
Посильней досталось.

Пришла Нора. В первую минуту мне показалось, что она несет на руках ребенка, – но это был безногий лет шестидесяти, с морщинистым, но каким-то детским личиком.
– Ну вот, попрыгунчик ты мой, – сказала Нора, усаживая его на диван. – Теперь твое психическое состояние лучше.

– Нора! Твой следующий клиент, – сказала майорша.

Нора бросила на меня взгляд и сделала вид, что меня не знает. Халат у нее был надет на голое тело.

– Полетели, миленький, – сказала она и направилась к двери, за которой была винтовая лестница. Я пошел следом. Майорша ударила по струнам, и бригада запела:

Скинь, сестрица, лиф и платье,
Не скупись, даруя радость!
В бездну пав, раскрой объятья,
Вечную изведай сладость!

– Ключ получил? – спросила Нора. Я кивнул. – Пошли!

Мы осторожно пробрались через зал с обвалившимся куполом и оказались в галерее, которая вела в восточное крыло здания. По ней дошли до какого-то коридора, повернули и разом остановились.

– Ничего не вижу, – сказал я.

– Надо привыкнуть к темноте, – ответила Нора. – Что-нибудь всегда увидишь.

Мы стояли неподвижно.

– Как же ты могла, – сказал я.

– Что?

– Ты знаешь, о чем я.

Нора молчала. Мрак впереди был непроницаемый.

– На эту должность надо было еще утверждение получить, – сказала Нора.

– Эдингер заставил?

Она засмеялась:

– Ничего подобного! Просто, чтобы жить в городе, необходимо основание, а никакого другого основания у меня не было. Теперь что-нибудь видишь?

Я соврал:

– Что-то вижу.

– Идем!

Мы осторожно продвигались вперед. Мне казалось, я слепой.

– А с чего ты так разозлился? – нарушила молчание Нора. – Я же и раньше крутила будь здоров со всеми вашими.

Я ощупью искал путь в темноте. Ответил зло:

– Да, но с нашими!

– Дорогой мой, ваше время, думаю, давным-давно прошло.

Мы спускались в подвал. Нора предупредила:

– Осторожно, тут лестница. Двадцать две ступеньки.

Я спускался, считая ступени. Нора остановилась. Я слышал ее дыхание.

– Теперь направо. В этой стене, – сказала она.

Я ощупал облицованную панелями стену, нашарил, нажал, панель сдвинулась. Вслепую нашел скважину, вставил ключ – он подошел.

– Закрой глаза, – сказал я.

Дверь бункера отворилась. Мрак вроде бы начал редеть. Но мы все так же ощупью продвигались вперед. Дверь за нами захлопнулась. Мы открыли глаза. Помещение с компьютерами. Нора осмотрела машины и сказала:

– Генераторы в порядке.

Мы подошли к радиоцентру. Нора настроила приемник, и, к нашему изумлению, из динамиков грянул «Швейцарский псалом», да так громко, что мы подскочили от испуга.

– Блюмлисальп! – завопила Нора.

– Автоматически включилась запись, – успокоил я. – Там же никого не осталось в живых. Это невозможно.

Но после гимна раздался голос. Это был Штан, популярный ведущий ночной радиопередачи – легкая музыка, гости программы, болтовня. «Штаны долой – с вами Штан!» Он сообщил: «Дорогие слушательницы, дорогие слушатели! Время – двадцать два часа», назвал также дату и объявил, что сейчас будет передаваться повтор какой-то патриотической программы.

– Они живы! – воскликнула Нора. – Живы! Он назвал сегодняшнее число!

В динамике зазвучал голос главы военного департамента.

– Мой начальник! – Нора чуть не рыдала от радости.

Начальник выступил с обращением к народу. Заявил, что все они – правительство, депутаты парламента, государственные чиновники, общим числом четыре тысячи человек обоих полов, однако с преобладанием мужчин, плюс одна тысяча секретарш, – благополучно избежали гибели, находясь в недрах Блюмлисальпа. От радиации никто не пострадал, запасы продовольствия столь велики, что хватит еще двум или трем поколениям, АЭС работает в нормальном режиме, со светом и воздухом никаких проблем нет. Стало быть, все доводы борцов против атомной энергетики следует считать безосновательными. Правительство, парламент и чиновники обеспечены всем необходимым, дабы они могли осуществлять дальнейшее руководство страной и продолжить свое служение народу. Да, в настоящее время у них отсутствует возможность вернуться, ибо враг, проявив неслыханное коварство, осуществил прицельный сброс бомбы на Блюмлисальп. Однако никто не сетует на судьбу: не народ, а исполнительная, законодательная власти и государственные службы и ведомства обязаны жертвовать собой. Так что они и принесли себя в жертву. Глава военного ведомства говорил и говорил, а я смотрел на Нору. Она замерла, вся обратилась в слух, халат на ней распахнулся. Я жадно накинулся на нее, обхватил, повалил на пол – женщины у меня не было целую вечность. А начальник теперь вещал о великой радости, охватившей его, когда пришла весть, что мы победили при Ландеке, наголову разбив коварного врага; о своей твердой уверенности, что армия во взаимодействии со своими отважными союзниками успешно осуществила глубокое продвижение в азиатские степи, и стало быть, близится окончательная победа над врагом, возможно, она уже одержана; что он глубоко сожалеет о том, что правительство, как и он сам, до сих пор не имеет известий о происходящих в мире событиях, поскольку радиоприему препятствует невиданный уровень радиации. Начальник сыпал словами, ни на миг не останавливаясь. Нора внимательно слушала. Я сопел, стонал – она зажала мне рот ладонью, только бы слушать своего начальника, не упустить ни словечка. А мне все было мало – я становился только ненасытнее, оттого что она не перестала слушать этот голос из динамика, ее тело отдавалось совершенно безучастно. Конечно, могло случиться, с заметной озабоченностью вещал начальник, да-да, нельзя на сто процентов исключить эту возможность, пусть и очень, очень маловероятную, а именно что ход войны стал иным, нежели ожидалось, и враг, обладая численным перевесом и поистине колоссальным превосходством в области современных систем обычных вооружений, добился успеха, да, враг захватил страну, однако лишь территорию, а не народ, ибо непобедим народ, победивший при Моргартене, Земпахе и Муртене... Меня все сильнее охватывало бешенство, жуткая злость, так как Нора по-прежнему слушала этот чертов голос и на меня ей было наплевать. А он все не умолкал: очевидно, враг уже осознает данный факт, о непобедимости народа свидетельствует не только героическое сопротивление, которое народ по-прежнему оказывает – кто в этом сомневается? – но в первую очередь то, что легитимно избранный парламент, правительство и госаппарат беспрепятственно исполняют свой долг в недрах Блюмлисальпа, они день и ночь в трудах, они принимают законы и распоряжения, осуществляют власть, это

они, и никто другой, являются подлинным народом страны, следовательно, лишь они обладают полномочиями на ведение переговоров с врагом, выступая не в качестве побежденных, но как победители. Ибо, если даже страну постигли опустошительные разрушения – допустим столь невероятную возможность! – да, если страна не имеет сил для сопротивления или – увы, эту возможность нельзя исключить – страна как таковая прекратила свое существование, то живут и здравствуют ее бесперебойно функционирующее правительство, выборная власть – парламент и безупречно работающий государственный аппарат. Они никогда не капитулируют. Во имя мира во всем мире они преисполнены решимости вновь подтвердить свою собственную независимость, основой коей является вовеки незыблемый вооруженный нейтралитет.

Вообще-то, я помню лишь обрывки этой речи, которые сам теперь связал в некое целое. А тогда не до того было – я словно летел с бесконечной высоты, потом же, когда я отпустил Нору, из динамика грянул «Швейцарский псалом». Мы встали. С меня градом катился пот. Как были, голые, мы пошли в помещение лаборатории. Нора взяла у меня кровь и сделала анализ.

– Еще поживешь, – сказала она.

– А ты?

– Администрация направила меня на обследование. Мне тоже повезло. Как и тебе.

Я снова бросился на нее, повалил на пол рядом с лабораторным столом, но на меня опять накатила злость, так как Нора, когда я пытался ее взять, вдруг холодно и деловито заметила:

– Бесперебойно функционирующее правительство в отсутствие народа – для правительства чем не идеальная ситуация? – И захохотала, да так, что не могла остановиться. В общем, я ее отпустил.

– Много их там, в Администрации? – спросил я, когда Нора успокоилась.

– Человек двадцать-тридцать. Не больше. – Она поднялась с пола и стояла передо мной.

– А где Эдингер живет? – Я, голый, выдохшийся, сидел на полу.

Нора посмотрела на меня с сомнением:

– Почему тебя это интересует?

– Просто так.

Она все-таки ответила:

– В Вифлееме.³⁵ В пентхаусе.

– А как его имя, ты знаешь?

И опять она ответила неохотно и не сразу:

– Иеремия.

Я вернулся в помещение с компьютерами. Эдингеров в базе обнаружилось всего ничего, в том числе Иеремия Эдингер. Я пробежал глазами сведения о нем: учился на философском, не окончил, состоял в какой-то организации защитников окружающей среды, за уклонение от военной службы приговорен к смерти, но помилован парламентом, смерть заменили пожизненным заключением. Я зашел в радиоцентр, запер дверь, код находился в тайнике. Я вернулся к Норе, оделся. Она была уже в халате. Я сходил в арсенал, взял пистолет с глушителем, Норе велел запереть дверь и держать ключ у себя. А мне предстоит еще одно дело, сказал я, пожалуй небезопасное. Нора промолчала. Здание правительства я покинул, выйдя в какую-то дверь восточного крыла.

В Вифлееме уцелело одно-единственное высотное здание, да и оно походило на вставший из могилы скелет. Я вошел внутрь. Внизу все выгорело, лифтовые шахты зияли пустотой. Лестницу я нашел не сразу. От этажей остались железные балки и бетонные перекры-

³⁵ Здесь: название одного из кварталов Берна.

тия. На последнем этаже было пусто, и все озарено невероятно ярким светом ночного неба. Я подумал было, что ошибся и дом необитаем, но тут заметил приставленную к стене лестницу. Поднявшись, я вылез на плоскую крышу и оказался прямо напротив темной стены пентхауса. Сквозь щели неплотно пригнанной двери сочился свет. Я постучал. Послышались шаги, дверь открылась, в светлом голубоватом прямоугольнике передо мной возник силуэт. Я спросил:

– Иеремия Эдингер здесь?

– Папа еще на службе, – раздался голос, принадлежащий, должно быть, девочке.

– Я подожду внизу.

– Подожди тут, со мной. Входи, – сказала девочка. – Мама тоже еще не пришла.

Девочка пошла в пентхаус, я двинулся следом, сунув руки в карманы. Войдя, я понял, почему пентхаус казался освещенным: одна из стен, напротив двери, была из стекла, а за ней простиралась ночь, светлая, мерцающая серебристой синевой, но не оттого, что светила полная луна, – флуоресцировали сами горы, Блюмлисальп светил так ярко, что предметы отбрасывали тени. Я взглянул на девочку – из-за яркого света она казалась бесплотным призраком: худенькая, с огромными глазами, с волосами белыми, как Блюмлисальп, изливавший этот призрачный свет. У стены стояли две кровати, в центре комнаты – стол и три стула. На столе я увидел две книги – «Хайди» и «Очерк истории философии. Путеводная нить, служащая к получению общего представления» Швеплера.³⁶ В комнате были также кухонная плита и кресло-качалка – у стеклянной стены. Девочка зажгла подсвечник на три свечи. От их живого света комната преобразилась. Я увидел, что на стенах развешаны яркие детские рисунки, что девочка одета в красный спортивный костюм. Ее широко раскрытые глаза смотрели весело, волосы были не белые, а просто светлые, соломенные. Ей, наверное, лет десять, подумал я.

– Ты испугался, потому что Блюмлисальп светится? – спросила девочка.

– Ну да, немного испугался, верно.

– Последние несколько недель он светится все ярче и ярче. Папа беспокоится. Папа говорит, мы с мамой должны отсюда уехать.

Я перевел взгляд на рисунки.

– Это Хайди. Я сделала рисунки ко всей книжке. Вот это домовой Альп-Эхи, а это Петер-козопас, – пояснила девочка и добавила: – Ты садись в качалку, она у нас специально для гостей.

Я подошел к громадному окну, поглядел на Блюмлисальп, расположился в качалке. Девочка у стола читала «Хайди». Было, наверное, часа три утра, когда я услышал шаги. В дверях появился высокий дородный человек. На меня посмотрел мельком и сразу обернулся к девочке:

– Глория, ты почему до сих пор не спишь? Марш в кровать!

Девочка закрыла книгу.

– Я не могу заснуть, пока тебя нет, папа. И мама все не приходит.

– Да придет, придет твоя мамочка, – сказал этот высоченный здоровяк, подходя ко мне. – Моя приемная находится на Эйгерплац.

– У меня к вам неофициальный разговор, Эдингер, – сказал я.

– Не угодно ли представиться?

Я покачался в качалке.

– Мое имя не играет роли.

³⁶ Швеплер Альберт (1819–1857) – швейцарский и немецкий теолог, философ и историк; защищенная им в Тюбингенском университете диссертация посвящена философии Платона.

– Ну хорошо. Давайте-ка выпьем коньяку. – Он отошел в угол с плитой, выудил откуда-то снизу бутылку и две рюмки. Вернувшись к столу, поставил все это, потом погладил по головке девочку, уже свернувшуюся под одеялом, задул свечи, открыл дверь и кивнул мне, приглашая идти за ним. Мы вышли на плоскую крышу. В призрачном сиянии фосфоресцирующих гор она походила на равнину, усеянную развалинами, кое-где поросшую кустарником и невысокими деревцами. Мы сели на обломках обвалившейся трубы, внизу лежал разрушенный Вифлеем. Вдалеке, за одним из рухнувших высотных зданий, смутно, как тень, угадывался город и возносился ввысь стройный силуэт собора.

– Был солдатом? – спросил Эдингер.

– И остался.

Он дал мне рюмку, налил мне, налил себе.

– Из французского посольства, – сказал Эдингер. – Рюмки тоже. Хрусталь!

– Посольство еще существует?

– Нет. Только погреб. У Администрации есть свои секреты.

Мы выпили. Он спросил, чем я занимался до войны.

– Был студентом, у старика Кацбаха, – ответил я. – Собирался писать диссертацию.

– Хм.

– О Платоне.

Он заинтересовался:

– О Платоне? О чем конкретно?

– О «Государстве», точнее о Седьмой книге «Государства».

Тут он сообщил, что в свое время тоже занимался у Кацбаха.

– Знаю, – сказал я.

– Вы насчет меня осведомлены, – констатировал он, ничуть не удивившись, и выпил.

Я спросил, известно ли ему что-нибудь о судьбе Кацбаха.

– Когда сбросили бомбу, квартира профессора сгорела, – сказал он, болтая коньяком в рюмке, – горы рукописей.

– Не везет философам, – сказал я. – В философском семинаре тоже все сгорело.

– Кроме Швеглера. Единственная книга, которую я там нашел.

– Видел ее на вашем столе.

Мы помолчали, глядя на Блюмлисальп.

Потом Эдингер предложил:

– Можете завтра пройти медицинское обследование, на Эйгерплац.

– Я еще поживу, – сказал я. – Только что обследовался.

Он не стал выяснять, кто меня обследовал, и плеснул мне коньяку, потом и себе.

– Где же армия, Эдингер? Восемьсот тысяч было мобилизовано!

– Армия... Армия... – Эдингер выпил. – На Инсбрук сбросили бомбу. – Он еще выпил. – Взрыватель замедленного действия. Вы тогда были в армии. Вам повезло.

Мы помолчали, глядя на город, выпили.

– Наверное, пора сдать эту страну, – сказал Эдингер. – И всю Европу. Что стало с Центральной и Южной Африкой, не описать. Об остальных континентах и говорить нечего. Соединенные Штаты по сей день не подают признаков жизни. Население планеты сегодня – от силы сто миллионов жителей. А было – десять миллиардов.

Я поднял взгляд на Блюмлисальп. Гора светилась ярче, чем полная луна. Эдингер сказал:

– Мы учредили Всемирную администрацию.

Я переспросил, болтая коньяком в рюмке:

– Мы?

Он не ответил.

– Эдингер, тебя судили за уклонение от воинской обязанности. – Я поднял свою рюмку против света Блюмлисальпа. На ней заиграли призрачные отсветы. – Ты остался жив, потому что тюремные стены – надежная защита. Шучу! Будь у наших депутатов хоть какой-то кураж, тебя непременно бы расстреляли.

– У тебя-то куража на это хватило бы.

Я кивнул:

– Да уж, можешь не сомневаться. – Я снова отхлебнул, коньяк и впрямь был хорош.

В городе гроыхнул глухой удар. Силуэт собора накренился, послышался далекий громовой раскат, поднялось голубоватое облако пыли, медленно опустилось, – собор исчез.

– Уступ сорвало, на котором собор стоял, вместе под откос ухнули, – равнодушно сказал Эдингер. – Мы давно этого ждали. В остальном ты, полковник, прав, – вернулся он к прежней теме. – Мы, уклонисты, учредили Администрацию здесь. В других странах ее создали диссиденты или жертвы указов о радикальных элементах.

Эдингер проговорился: он знал, кто я такой. Но сейчас не это было важно, я хотел побольше вытянуть из него об Администрации.

– То есть, – сказал я, – где-то в других местах есть отделения вашей Всемирной администрации. Ты получаешь от них информацию, Эдингер.

– По радио, – подтвердил он.

– Притом что нет электричества?

– Несколько человек у нас – радиолюбители.

При этом ярком ночном свете лицо Эдингера казалось бесплотным, и было в нем что-то необъяснимо странное, какое-то странное оцепенение.

– Как-то раз я видел самолет вроде бы, – сказал я.

Он отпил коньяку и кивнул:

– Из Непала летел, из центральной управы. Есть у них самолет, чтобы делать замеры уровня радиации.

Я призадумался. Что-то он подвирал.

– Эдингер, ты знаешь, кто я такой, – сказал я.

– Я знал, что ты должен прибыть, полковник, – ответил он. – Бюрки меня подготовил.

– И ключ он тебе дал?

– Да.

– И Норе?

– Нора ни о чем не знает.

Эдингер рассказал, что без труда нашел бункер под восточным крылом. Послушал выступления членов правительства и вернул ключ Бюрки.

– Когда Бюрки умер, ключ достался тебе. Но Бюрки получил его не сразу – ключ находился у Цаугга, потом у Штауффера, потом у Рюгера, потом у Хадорна и только потом попал к нему.

– А ты, значит, в курсе, – сказал я.

– Администрация в курсе.

– Администрация там. – Я указал на сверкающую гору. – Там дееспособное правительство, дееспособный парламент, дееспособные органы власти. Если мы их освободим, у нас будет Администрация получше, чем ваша Всемирная администрация диссидентов и дезертиров, собранная как попало, экспромтом. Налей-ка мне, Эдингер.

Он налил.

– Первое, что ты должен усвоить, Эдингер: более сильный здесь – я.

– Думаешь? Потому что вооружен? – Он выпил.

– Револьвер я отдал бандерше, состоящей на службе у твоей Администрации, в борделе, который теперь в здании правительства.

Он засмеялся:

– Полковник, в бункере под восточным крылом в твоём распоряжении был целый арсенал! И код.

Я насторожился:

– Что тебе известно о коде?

Он ответил не сразу – долго молчал, не отводя взгляда от Блумлисальпа, и на его большое мясистое лицо вернулось прежнее, странно застывшее выражение. Наконец он заговорил: в бункере под восточным крылом Бюрки показал ему код, хранившийся в тайнике, они вместе расшифровали несколько секретных правительственных сообщений, отправленных из подземелья. Отправить их удалось потому, что не был поврежден подземный кабель, – радиопередатчик в убежище не действует из-за радиационного фона; связь с правительством возможна только из восточного крыла правительственного здания.

– Правительство пало духом, – сказал Эдингер. – Они безуспешно пытались установить контакт с тобой, но теперь оставили эти попытки. Раньше они надеялись, что ты их освободишь, а теперь вызывают о помощи к тем, кого считают победителями, к врагам. Они там даже не подозревают, что нет никаких победителей – есть только побежденные. Они не знают, что солдаты всех армий отказались воевать и перестреляли своих командиров, не знают, что к власти пришла Всемирная администрация, а солдаты, выжившие после катастрофы, отправлены в Сахару, и, если им удастся сделать пустыню плодородной, у человечества, может быть, все-таки будет шанс.

Выслушав его сообщение, я некоторое время раздумывал, потом спросил:

– И что же ты предлагаешь мне?

Он допил что оставалось в рюмке.

– Люди работают в Сахаре ради выживания. Нельзя исключить, что радиационное облако накроет и Сахару. Люди пытаются оживить пустыню, используя невообразимо примитивные средства. Труд первобытных дикарей. Они ненавидят технику. Они ненавидят все, что напоминает о старом мире. Они все еще не оправились от шока. Мы должны преодолеть шок. Я тоже когда-то изучал философию. У меня есть книга Швеплера. Когда-то мы смеялись над этими «Очерками философии». Но, может быть, ты возьмешься растолковать этим людям в Сахаре, что не правы те, кто считает, что мыслить – занятие опасное?

Он замолчал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.